**ХРЕСТОМАТИЯ**

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ЛИТЕРАТУРНАЯ СИБИРЬ»

**9 класс**

**Первое полугодие**

**К уроку 1.**

**Павел Катенин. «Убийца».**

**Павел КАТЕНИН**

**УБИЙЦА**

*Баллада*

В селе Зажитном двор широкий,

Тесовая изба,

Светлица и терём высокий,

Беленая труба.

Ни в чем не скуден дом богатый:

Ни в хлебе, ни в вине,

Ни в мягкой рухляди камчатой,

Ни в золотой казне.

Хозяин, староста округа,

Родился сиротой,

Без рода, племени и друга,

С одною нищетой.

И с нею век бы жил детина,

Но сжалился мужик:

Взял в дом, и как родного сына

Взрастил его старик.

Большая чрез село дорога;

Он постоялый двор

Держал, и с помощию бога

Нажив его был скор.

Но как от злых людей спастися?

Убогим быть – беда;

Богатым – пуще берегися

И горшего вреда.

Купцы приехали к ночлегу

Однажды ввечеру,

И рано в путь впрягли телегу

Назавтра поутру.

Недолго спорили о плате,

И со двора долой;

А сам хозяин на полате

Удавлен той порой.

Тревога в доме; с понятыми

Настигли, и нашли:

Они с пожитками своими

Хозяйские свезли.

Нет слова молвить в оправданье,

И уголовный суд

В Сибирь сослал их в наказанье,

В работу медных руд.

А старика меж тем с моленьем

Предав навек земле,

Приемыш получил с именьем

Чин старосты в селе.

Но что чины, что деньги, слава,

Когда болит душа?

Тогда ни почесть, ни забава,

Ни жизнь не хороша.

Так из последней бьется силы

Почти он десять лет;

Ни дети, ни жена не милы,

Постыл весь белый свет.

Один в лесу день целый бродит,

От встречного бежит,

Глаз напролет всю ночь не сводит

И все в окно глядит.

Особенно когда день жаркий

Потухнет в ясну ночь

И светит в небе месяц яркий, –

Он ни на миг не прочь.

Все спят; но он один садится

К косящету окну.

То засмеется, то смутится

И смотрит на луну.

Жена приметила повадки,

И страшен муж ей стал,

И не поймет она загадки,

И просит, чтоб сказал.

«Хозяин! Что не спишь ты ночи?

Иль ночь тебе долга?

И что на месяц пялишь очи,

Как будто на врага?»

– «Молчи, жена, не бабье дело

Все мужни тайны знать:

Скажи тебе – считай уж смело,

Не стерпишь не сболтать».

– «Ах, нет! вот бог тебе свидетель,

Не молвлю ни словца;

Лишь все скажи, мой благодетель,

С начала до конца».

– «Будь так – скажу во что б ни стало.

Ты помнишь старика;

Хоть на купцов сомненье мало,

Я с рук сбыл дурака».

– «Как ты!» – «Да так: то было летом,

Вот помню, как теперь.

Незадолго перед рассветом;

Стояла настежь дверь.

Вошел я в избу, на полате

Спал старый крепким сном;

Надел уж петлю, да некстати

Тронул его узлом.

Проснулся, черт, и видит: худо!

Нет в доме ни души.

«Убить меня тебе не чудо,

Пожалуй задуши.

Но помни слово: не обидит

Без казни ввек злодей;

Есть там свидетель, он увидит,

Когда здесь нет людей».

Сказал – и указал в окошко.

Со всех я дернул сил,

Сам испугавшися немножко,

Что кем он мне грозил, –

Взглянул, а месяц тут проклятый

И смотрит на меня.

И не устанет, а десятый

Уж год с того ведь дня.

Да полно, что! Ты нем ведь, лысый!

Так не боюсь тебя;

Гляди сычом, скаль зубы крысой,

Да знай лишь про себя».

Тут староста на месяц снова

С усмешкою взглянул;

Потом, не говоря ни слова,

Улегся и заснул.

Не спит жена: ей страх и совесть

Покоя не дают.

Судьям доносит страшну повесть,

И за убийцей шлют.

В речах он сбился от боязни,

Его попутал бог,

И, не стерпевши тяжкой казни,

Под нею он издох.

Казнь божья вслед злодею рыщет;

Обманет пусть людей,

Но виноватого бог сыщет –

Вот песни склад моей.

*1815*

**К уроку 2.**

**Александр Бестужев-Марлинский. «Саатырь».**

**Александр БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ**

**СААТЫРЬ**

*Якутская баллада*

Не ветер вздыхает в ущелье горы,

Не камень слезится росою –

То плачет якут до полночной поры,

Склонясь над женой молодою.

Уж пятую зорю томится она,

Любви и веселья подруга,

Без капли воды, без целебного сна

На жаркой постели недуга;

С румянцем ланит луч надежды погас,

Как ворон, над нею – погибели час.

Умолкните, чар и моления вой

И бубнов плачевные звуки!

С одра Саатырь поднялась головой,

Простерла поблеклые руки;

И так, как под снегом роптанье ручья,

Как звон колокольчика дальний,

Струится по воздуху голос ея.

Внемлите вы речи прощальной.

Священ для живых передсмертный завет:

У гробных дверей лицемерия нет!

«О други! Уйдет ли журавль от орла?

От пуль – быстроногие козы?

Коль смертная тень мне на сердце легла,

Прильют ли дыхания слезы?

О муж мой – не плачь: нам судьба изрекла

И в браке разлучную долю.

По воле твоей я доселе жила,

Исполни теперь мою волю:

Покой и завет нерушимо храня,

На горном холме схорони ты меня!

Не вешай мой гроб на лесной вышине

Духам, непогодам забавой;

В родимой земле рой могилу ты мне

И кровлей замкни величавой.

Вот слово еще, роковое оно:

Едва я дышать перестану,

Сей перстень возьми и ступи в стремено,

Отдай его князь Буйдукану.

Разгадки ж к тому не желай, не следи –

Тайна эта в моей погребется груди!..»

И смерть осенила больную крылом,

Сомкнулись тяжелые вежды;

Казалось, она забывается сном

В обьятиях сладкой надежды;

С дыханием уст замирали слова,

И жизнь улетела со звуком;

Отринув стрелу, так звенит тетива,

Могучим расторгнута луком.

Родных поразил изумляющий страх...

На сердце тоска и слеза на очах.

Убрали. Поднизки подобием струй

Текут на богатые шубы.

Но грусти печать – от родных поцелуй

Не сходит на бледные губы;

Лишь смело к одру подходил Буйдукан

Один, и стопою незыбкой;

Он обнял ее не смущен и румян,

И вышел с надменной улыбкой.

И чудилось им – Саатыри чело,

Как северным блеском, на миг рассвело!..

Наутро, где Лена меж башнями гор

Течет под завесой туманов

И ветер, будя истлевающий бор,

Качает гробами шаманов,

При крике родных Саатырь принесли

В красивой колоде кедровой,

И тихо разверзтое лоно земли

Сомкнулось над жертвою новой

И девы и жены, и старый и млад

В улус потекли, озираясь назад.

Вскипели котлы, задымилася кровь

Коней, украшения стада,

И брызжет кумыс от широких краев,

Он – счастья и горя услада;

И шумно кругом, упоенья кумир,

Аях пробегает бездонный;

Уж вянет заря, поминательный пир

Затих. У чувала склоненный

Круг сонных гостей возлежит недвижим,

Лишь в юрте, синея, волнуется дым.

Осыпаны кудри цветных тальников

Росинками ночи осенней,

И вышита зелень холмов и лугов

Узором изменчивых теней;

Вот месяц над теменем сумрачных скал

Вспрянул кабаргой златорогой,

И луч одинокий по Лене упал

Виденьям блестящей дорогой:

По мхам, по тропам заповедных полян

Мелькают они сквозь прозрачный туман.

Что крикнул испуганный вран на скале,

Блюститель безмолвия ночи?

Что искрами сыплют и меркнут во мгле

Огнистые филина очи?

Не адский ли по лесу рыщет ездок

Заглохшею шаманскою тропкой?

Как бубен звуча, отражаемый скок

Гудит по окресности робкой...

Вот кто-то примчался – он бледен лицом,

Как идол, стоит на холме гробовом.

И прянул на землю; удар топора

Раздвинул затвор над могилой,

И молвит он мертвой: «Подруга, пора!

Жених дожидается милой!

Воскресни для новых веселия дней,

Для жизни и счастия. Кони

Умчат нас далеко – и ветер степей

Завеет следы от погони.

Притворной кончиною вольная вновь,

Со мной найдешь ты покой и любовь».

«Ты ль это? О милый! о князь Буйдукан!

Как вечно казалось мне время!

Как душно и страшно мне было! Обман

На сердце налег, будто бремя!..

Роса мне катилась слезами родных,

На ветре их стон безотрадный!

И черви на место перстней золотых

Вились – и так смело, так жадно!..

Вся кровь моя стынет – а близок ли путь?

О милый, согрей мне в объятиях грудь!»

И вот поцелуев таинственный звук

Под кровом могильной святыни,

И сладкие речи... Но вдруг и вокруг

Слетелися духи пустыни,

И трупы шаманов свились в хоровод,

Ударили в бубны и чаши...

Внимая, трепещут любовники! Вот

Им вопят: «Вы наши, вы наши!

Не выдаст могила схороненный клад;

Преступников духи карают, казнят!»

И падают звезды, и прыщет огонь...

Испуганный адскою ловлей,

Храпит и кидается бешенный конь

На кровлю и рухнула кровля!

Вдали огласился раздавленных стон...

Погибли. Но тень Саатыри

Доныне пугает изменчивых жен

По тундрам Восточной Сибири.

И ловчий, когда разливается тьма,

В боязни бежит рокового холма...

*1828, Якутск*

**К урокам 3-4.**

**Николай Полевой. «Сохатый».**

**Николай ПОЛЕВОЙ**

**СОХАТЫЙ**

*Сибирское предание*

1

СИБИРЬ

Ты не забыта мною, моя далекая родина, Сибирь, богатая золотом, дремучими лесами, морозами и дивными явлениями природы! Как первые мечты юности, как любимые игры детства, я помню твои вековые кедры, твои безмолвные пустыни, переломленные веками утесы в ущелиях гор и твою безмерную, голубую, как глаза сибирской девы, светлую, как глыба льду, Ангару, на берегах которой беспечно, весело и быстро пролетели дни детства моего. Сибирь! как далека ты и как близка к душе моей! Все, что впечатлевалось некогда в юную память мою, все помню я, даже гул ветра по сосновым лесам, когда, переходя с мшистых тундр, в твоих дебрях гуляет он, мощный сын Ледовитого моря, и разносит туманы, и природы, и страсти, которые облегают здесь, на Руси, небосклон, и тускнят в глазах моих и великолепные здания, и бархатные луга, и цветущие поля, согреваемые солнцем, распещряемые радугами цветов и пожираемые завистливым человеком. Смотря ли на здешние обнаженные поля, забыть мне твои необозримые, нетронутые степи, Сибирь – золотое дно! В тебе живет не много людей – не завидуй многолюдству здешнему: здесь и пороков более, чем в твоих малолюдных городах! Благодари провидение, что в тебе есть где поместиться и исчезнуть тлетворным преступлениям, которые звуком цепей означают путь свой из здешней стороны и теряются в неизмеримости пустынь твоих, как ручей в волнах Ангары, как следы легкого оленя, по глубокому снегу якутской стороны!

Простите воспоминаниям былого, друзья мои! Заставляя меня рассказать вам одну из былей, слышанных мною в Сибири, в бывалые годы моей юности, вы напомнили мне мою родину, в которой приведет ли меня бог бывать когда-нибудь еще! Дивитесь странностям человеческого сердца: я многое видел с тех пор, как в последний раз с надеждами, с мечтами на будущее – еще юный, еще полный жизни – глядел на Иркутск, над которым великолепно восходило солнце и золотило лучами своими синие воды Ангары и зеленые берега Иркута... Много времени минуло тому; много испытала душа моя и горя, и радости; много тех, с которыми делилась она, совершили навсегда путь жизни и отдыхают под гробовым дерном... Но где я ни был – и на вершинах Урала, и вблизи Кавказа и Тавриды, и на берегах Азовского моря, и на выстланных гранитом берегах Балтийского моря, и на роскошных пажитях Украины – нигде, нет, нигде уже не волновалась так душа моя, не билось так сильно сердце мое, не горела так пламенно голова моя, как там, в дикой моей родине! Это был мир очарований, мир, пролетевший сном мгновенным. Если кто из вас, друзья мои, будет в Иркутске – пусть пойдет он за город, к тому месту, где близ старой, разрушенной мельницы вливается в Ангару Ушаковка. Тут извивистое течение этой речки приведет его к тому месту, где Ушаковка раздвояется островами, где против него на луговой стороне будет старое Адмиралтейство – тут жил отец мой; тут были пределы первого моего мира; тут мечтал я, плакивал за Плутархом, думал быть великим человеком, подобно великим людям, им описанным; горделиво расхаживал по лугу, уединяясь в тень дерев, вдохновляясь первою любовью, делясь первыми ощущениями дружбы... Там, говорят, все изменилось: старый отцовский дом не существует; добрых людей, которые некогда собирались в нем, разнесла буря жизни, и меня – беспечного юношу – увела судьба далеко от родины... Но обратимся к моему рассказу.

И теперь еще малолюдна Сибирь, и теперь еще дики леса ее; но прежде была она еще малолюднее, леса ее были еще диче. Было время, что воевода, посланный из Москвы, два года ехал до Иркутска, отдыхая в уединенных острогах и зимовьях от дороги бесконечной. Теперь всюду видите уже следы человека: леса прорублены, болота устланы мостами, горы обрыты. Часто едете и ныне не встречая живого существа человеческого; но тут же видите, что человек был уже в сих местах, срубил, срыл, замостил и удалился. Прежде вы напрасно искали бы его. Если дерзкое любопытство осмеливалось заходить в чащи лесов, оно встречалось с дикими зверями или – еще хуже – с ордами сибирских дикарей, которые скрывались в отдалениях от русского человека и иногда, с своими стрелами и секирами, приступали даже к городам, русскими застроенным. Русские самопалы гремели тогда против них, и постепенно дикари усмирялись, становились мирнее и кротче, с тайною досадою, но тише и тише давали ясак и отвыкли наконец от дикой воли, привыкли к неволе образованных обществ, хотя еще не вполне знают выгоды, от нее происходящие.

Но все это делалось не скоро. И за пятьдесят лет Сибирь была далеко не то, что она теперь. Лет пятьдесят назад в Иркутске еще цел был деревянный острог, защищавший город; теперь на этом месте бульвары: судите о разнице по этому.

Преступление уже давно находило в Сибири место наказания. С самого завоевания Сибири Годунов начал бросать в сибирские города людей, возбуждавших его опасения, вельмож, заграждавших ему путь к престолу, а потом угрожавших его трону своими умами или мечами. Мятежные стрельцы толпами были низринуты в Сибирь, и более 100 лет тому, как цена порока и преступления оседает из степи и леса Сибири. Напрасно подумали бы вы, что Сибирь делается от этого местом, где сбирается порок и преступление. Нет! Двадцать и двадцать пять тысяч человек ежегодно идут из России в Сибирь на железном канате; но их и не видно в Сибири. Убийцы, злодеи, люди, заклейменные преступлением, скрываются, с раскаянием или с неумолимым грызением совести, в мрачных глубинах рудников, в далеких уединенных местах, где трудами рук своих окупают отринутое обществом бытие свое; и в поте лица снедают хлеб свой. Изгнанники же в Сибирь часто становятся добрыми гражданами. Смело въезжаете в деревню, населенную людьми, сосланными из России, и мирно спите под кровом, который соорудило себе кающееся преступление или бедственная слабость. Но прежде было не так – и в Сибири, и в России. Здесь, на Руси, как часто, лет пятьдесят назад, не было проезда по столбовой дороге; как нередко разбойники ставили притины по Волге, будто правильные войска, и брали дань, не только делились с каждою проходящею расшивою, с каждым проезжавшим купцом. Когда же злодей попадался в цепи и был уводим в Сибирь, там нередко не знали, что с ним делать. Бывали случаи, что преступники собирались ватагами, бродили по селениям, брали, что им было надобно, и на зиму приходили в городские тюрьмы, откуда весною уходили опять в непроходимые пустыни. Туда часто посылали против них сотни бурятов, сибиряков и казаков, которые захватывали их в облавы, как диких зверей, гнались за ними в самые неприступные места, зажигали леса и пожарами выгоняли их из мрачных логовищ. Память об этих старых – и едва ли добрых – временах едва осталась в преданиях сибиряков. Но спросите старожилов тамошних, они подтвердят вам мои рассказы. Они еще не забыли даже имен некоторых буйных удальцов, которые наводили страх и трепет на жителей Иркутска и берегов байкальских. Из всех отчаянных голов, которых память осталась в народном предании, никто не страшил столько в свое время, как Буза и Сохатый. Первый долго был страшилищем Волги и Дона, грабил богатых армян по берегам Каспийского моря и сам отдался в руки правосудия, когда удалось захватить жену его. Буза не отделил судьбы своей от ее судьбы и пошел в Сибирь с нею. Сто человек провожали его, закованного цепью в несколько пудов. Но в Сибири он бежал и много лет не давал проезда по Ангаре. Напрасно казаки и буряты ловили, искали его; поверье народное говорило наконец, что Буза заговаривает ружья, что пуля не берет его, что он скрывается под водою, когда за лодкою его гонится погоня. Стрела бурята разрушила в роковую минуту смерти все очарования, и Буза погиб. Судьба Сохатого, до ссылки его в Сибирь, осталась неизвестною; он никогда не говорил об ней: знали только, что он пришел в Сибирь из пермских лесов, где на душе его, как говорили, легло много убийств и дел ужасных.

2

КАТОРЖНЫЙ

Перед домом иркутского коменданта толпилось множество народа. Все любопытно глядели на человека, скованного тяжелыми цепями и прикованного к телеге.

Солнце пекло его палящими лучами; он не мог пошевелиться, горько стенал и томился среди толпы, с жадным, но бесчувственным вниманием смотревшей на него. Казаки и буряты стояли вокруг телеги.

В это время подле растворенного окна комендантского дома появилась прелестная девушка. Молодой офицер стоял подле нее и, казалось, не смотрел ни на толпу, ни на несчастного, бывшего предметом внимания толпы: глаза молодого офицера были устремлены на девушку, и при ней ничто для него не существовало.

– Боже милосердый! – сказала девушка сложа руки и подняв голубые глаза свои к небу. – Опять несчастный! Какая ужасная судьба: быть всегда свидетельницею мучений отверженного человечества!

Офицер опомнился, взглянул в окно и сказал с видом невольного содрогания: «Вы не стали бы жалеть о чудовище, которого видите, если бы знали, кто он».

– Человек, и – брат мой! – отвечала девушка с ангельским выражением.

«Брат ваш! Демон брат ангела, Амалия! Это человек, душа которого мрачнее адской тьмы, разбойник, за голову которого обещаны великие награды, который не знает ни совести, ни жалости; словом, Амалия – это Сохатый!»

И Амалия с невольным трепетом отступила от окна: страшное имя разбойника испугало ее. В эту минуту молчания раздирающий стон вылетел из груди Сохатого. «Братцы! – говорил он удушаемым голосом. – Ослабьте мне шею и дайте глоточек воды... Христа ради, я умираю...»

Казаки захохотали. «Издыхай, издыхай, собака!» – закричал урядник.

– Христа ради! Лучше убейте меня, но не томите. «Молчать!» – загремел урядник, поднимая свою пику. Несчастный закрыл глаза и замолчал. Он не знал, что близ него была душа, понимавшая его страдания. Когда Амалия услышала мольбы Сохатого и бесчеловечные отказы казаков, две крупные слезы покатились из глаз ее. «Вы слышите», – сказала она, поспешно отирая их и обращаясь к офицеру, подле нее бывшему.

– Он просит пить, – сказал офицер хладнокровно, – и ему не дают.

– Флахсман! – вскричала Амалия. – Вас ли я слышу? Как? И вы умеете говорить этим убийственным голосом, каким говорит дядюшка?

Флахсман смутился. «Я не понимаю, что вы хотите сказать...» – отвечал он.

– А вы еще хотите, чтобы я понимала вас! Вы видите перед собою несчастного предметом насмешек глупого любопытства народного; он томится на жару, с засохшим горлом, умирает от жажды.

– Что я могу сделать, Амалия?

– Велите снять его с телеги, дайте ему пить и удалите его от народа.

– Нельзя, Амалия. Это страшный преступник; он дожидается выхода вашего дядюшки, который сам хочет допросить его, но теперь занят в своем кабинете, и велел подождать.

– Он докуривает свою пятую трубку: вот его занятие! А между тем несчастный умирает...

– Он не умрет. Этот человек пять раз бегал из тюрьмы; его не держат ни цепи, ни замки, и я не ручаюсь ни за что, если его хоть на минуту выпустить из глаз.

– Флахсман! будьте милосерды! Я не могу видеть его мучений.

– Чего же вы хотите, Амалия?

– Вы адъютант дядюшки, вас послушают; велите ввести Сохатого в гауптвахту и пошлите ему пить...

– Амалия!

– Вы мне не откажете? – сказала Амалия, приближаясь к нему и смотря на него сквозь слезы. – С тех пор как я в Иркутске, меня беспрерывно окружают жертвы правосудия. Я не заступаюсь за них – истребляйте злодеев; но зачем заставляете вы переносить мучения прежде казни? Кто знает глубину души человеческой? Может быть, Сохатый был сначала жертвою несчастной слабости, и только жестокость ваших судей сделала его нераскаянным злодеем; но и в злодейской душе всегда еще остается след божьего образа, как среди ночной тьмы светят звезды, хотя и нет солнца...

– Амалия! мечтательница божественная! – вскричал Флахсман.

– Нет, я не мечтательница; но к благословениям других мне хочется присовокупить благословение страшного Сохатого. За злодейство пусть судит его закон; мы поможем ему...

– Мы! вы не различаете моей души от вашей...

– По крайней мере, на этот раз, – отвечала Амалия, потупив глаза и краснея.

С жаром схватил ее руку Флахсман, почтительно поцеловал и бросился из комнаты. Он вышел на площадь. Казаки, увидев адъютанта, с почтением стали подле телеги.

– Комендант велел снять арестанта с телеги и отвести в гауптвахту. – сказал он.

Закрытые глаза Сохатого растворились. «Отец-спаситель!» – простонал Сохатый. Немедленно отперли цепь, которою прикован был он к телеге. Сохатый хотел приподняться, но снова упал в изнеможении.

– Он болен? – спросил Флахсман.

– Почти околевает, ваше благородие, – отвечал урядник, – да и больше суток не даем мы ему ни пить, ни есть, а между тем везли его беспрестанно.

Сердце Флахсмана облилось кровью.

– Разве так велено? – спросил он.

– Велено всеми мерами не допускать его до побега, и мы приложили старание, как изволите видеть, – отвечал казак.

Сохатого стащили с телеги. Страшно загремели цепи его, когда он упал на землю почти без чувств. Черная густая борода, всклоченные волосы и великанский рост его изумили Флахсмана. Он наклонился к Сохатому.

– Ты болен? – спросил его Флахсман.

– Умираю, ваше благородие, – отвечал Сохатый, тяжело дыша.

Казаки взяли его и повели на гауптвахту. Там Сохатого посадили на лавку; он казался умирающим. Через минуту явился слуга коменданта с бутылкою воды и куском хлеба. Флахсман велел подать ему то и другое. Руки Сохатого были скованы, но он с жадностью глотал воду.

– Господи, – промолвил он, сверкнув глазами из-под нависших бровей, – господи, спаси ваше благородие! Пусть каждая капля воды смоет по одному греху с души вашей!

3

АМАЛИЯ

Благодетельное существо, которое усладило мучения несчастного, Амалия, была племянница иркутского коменданта, старого немца. Барон Фон-Шперлинг, дядя ее, как запомнил себя, то он уже был в службе, и оттого привык к такой аккуратности, что даже ел темпами. Не выкурив четырех трубок, он не мог ни о чем думать, и в назначенные часы Амалия должна была говорить ему: guten Tag gute Nacht, благодарить его за чай, за кофе, который он сам всыпал в кофейник чайною ложечкою. В остальное время она молчала, а дядя курил и также молчал. Барон был богатый, бездетный лифляндский помещик. Он взял Амалию после смерти сестры своей, воспитывал, нежил ее, как голландцы воспитывают и нежат тюльпаны, и хотел передать ей и свое имение и свое не благозвучное, но старое, высокобаронское имя. С горестию смотрел он иногда на длинную свою родословную, которая оканчивалась им, но радовался, что двухименный будущий муж Амалии, также (необходимое условие!) лифляндский барон, восстановит имя Шперлинга. Потому, по долгом размышлении, стоившем сотни трубок вагштафа, барон утвердил и решил, что Амалии надобно быть: 1-е – за лифляндцом; 2-е – за бароном; 3-е – за таким человеком, который прибавил бы к своему имени имя Шперлинга.

Добрый барон, пенковая трубка в человечестве! Ты забыл многое, не знал многого, да и кто же придумал бы все, что мы теперь расскажем!

Амалия, тихое, кроткое создание, с голубыми, всегда опущенными в землю или поднятыми к небу глазками и розовыми щечками, не смевшее сказать дяде своему пяти слов сряду, скрывала в груди своей сердце великана, а голова ее была пламенная голова жительницы Севера. Амалия, удаленная от всего, не знавшая ничего в свете, жила в идеалах, которые – хуже всякой существенности. Эти идеалы, эти яркие картины, похожие на старинную живопись на стекле – огромную, светлую, озаряемую солнцем, – раззнакомливают нас с жизнью обыкновенною и приучают к чему-то нездешнему. Между тем свет берет свое и, пока пламенная мечта летает с нами в мир поэзии, опутывает нас своими цепями и тем легче побеждает, что мы презираем его, как неприятеля ничтожного, не стоющего борьбы.

Когда Амалия оставила древний, полуразвалившийся замок, в котором родилась и жила с матерью до пятнадцати лет, дядя увез ее с собою в Крым, где богатую наследницу окружили вздыхатели. «Что за люди!» – думала Амалия, смотря на подвижных кукол в военных и статских мундирах; начинала говорить с ними и переставала, думая: «Это не тот, это не он!» И он явился ей в богатом, гвардейском мундире, молчаливый, угрюмый, говоривший одними глазами и не смевший сказать ни слова о том, что Амалии высказывали другие. Этот осуществленный идеал был Флахсман – немец только по имени, русский душою, молодой офицер, прискакавший из Петербурга с важными поручениями к барону Шперлингу, Амалия видела его три или четыре раза, сказала ему несколько слов, и – в пламенной голове ее Флахсман поселился среди блестящих идеалов.

Милые создания девушки, особливо с идеальными головами! Как я люблю вас! Как подстерегаю я этот взор, который с неба падает на земной идеал ваш! Как люблю я ваш испытующий взгляд в будущее, у которого вымаливаете вы себе счастье, как дитя игрушку у матери! Как люблю я сравнивать с вашими мечтами мои, истерзанные жизнью мечты и переноситься в прошедшее...

Флахсман не сказал ни слова. Казалось Амалии, что голос его дрожал при прощанье с нею; что слезы навернулись на глазах его. «Он... – думала Амалия и останавливалась на этом слове, едва смея домолвить сама себя, – любит!» Но Флахсман не сказал ничего и уехал обратно в Петербург. Амалия не грустила, но как пуст показался ей белый свет!..

4

ОН ЛЮБИТ

Вскоре барон Шперлинг переведен был в другую должность и переехал из Крыма в Сибирь. Говорили что-то о разрыве с Китаем, и Шперлингу поручено было устройство военной части в Иркутске и за Байкалом. Амалия без сожаления оставила цветущий Крым, и душа ее, напротив, казалось, ожила в Сибири. Мрачные леса, дикие горы, бесконечные степи, морям подобные реки, десять солнцев на небе зимою, знойность лета сибирского, простота, добрые нравы жителей, мысль, что живет на краю света, в глуши Азии, быстрые противоположности климата, зимы и лета – все очаровывало Амалию. Утомленная роскошью природы сторона Крымская не могла передать Амалии впечатлений столь сильных и чувств столь живых. Как сильно понимала теперь Амалия свою одинокость в мире! Как часто хотелось ей теперь высказать многое, таящееся в душе ее! И в такие мгновения нетерпеливого чувства души сказаться другой душе – странное дело! Амалии мечтался образ Флахсмана, как туманные тени предков Оссиана, любимого поэта Амалии. Милая девушка задумывалась (думают ли девушки, не знаю), задумывалась и тихонько твердила: он не любит!.. Но улыбка являлась на устах ее, и невольно подсказывало сердце: «А мог бы любить!»

В одно прекрасное сибирское летнее утро, которое не променяете на десять утр нашей Москвы, Амалия вошла в кабинет дяди, с чашкою кофе, и чашка эта выпала из руки ее: так сильно задрожали руки Амалии. Отчего? На своих креслах сидел, по обыкновению, и курил дядя ее, а поодаль от него, на софе, сидел – Флахсман!

Так он, тот молчаливый Флахсман, в Иркутске, в кабинете барона Шперлинга, и первый взор его сказал все Амалии. Когда при громе японской чашки, разбившейся в мелкие кусочки, дядя выпустил из рта свою трубку и быстро спросил: «Was machen sie doch? (Что вы делаете? (нем.) . – Ред.)». Амалия едва не бросилась на шею к дяде и не сказала ему: «Er liebt, et liebt!» (Он любит, он любит! (нем.) . – Ред.).

5

ДЯДЯ – УЧИТЕЛЬ

Так: Флахсман точно любил. Он не умел, не хотел ничего говорить Амалии, но оставил все выгоды службы, не послушал никого из честолюбивых своих родственников, выпросил себе место в Сибирском полку и поскакал в Иркутск.

Тогда узнала Амалия счастие любить и быть любимою. Тогда, гуляя с Флахсманом по берегу широкой Ангары, бывая с ним и с дядею за городом, в тени густых лесов, читая любимых поэтов Германии и Франции (Увы! Пушкина и Жуковского тогда еще не было, а Ломоносова девушки не читали), Амалия желала, чтобы Флахсман не поспешил сказать ей: «Я люблю тебя, Амалия!» Есть чувство в сердце человека, которое не знаю как назвать. Когда мы видим уже, что мы непременно будем счастливы, когда легкие крылышки радости уже веют на нас чем-то неземным, мы находим наслаждение удалить на несколько мгновений нашу радость, наше счастье, говорим ему: постой! и сердце наше упивается и надеждою, и наслаждением: это миг перехода надежды в счастье, и этот миг – лучше самого счастья! Так счастливый юноша приближает уста свои к розовым устам красавицы, забывая годы бедствий, и – останавливается, глядит на лицо ее, одушевленное счастием, и не прикасается к устам красавицы...

Флахсман был сын богатого человека и думал, что никаких препятствий не может быть, если бы он потребовал руки Амалии. Его душа не искала идеалов, и пока он не видал Амалии, он не понимал любви. Взросший в семье многочисленной, жившей патриархальным русским бытом в Малороссии, он с детства привык к картинам семейственного счастия. Его душа, не испытавшая бурь жизни, изумилась миру фантазии, какой раскрыли ему взор на Амалию, ее речи, ее слова, ее романические мечты. Холодность Флахсмана подтаяла от тихого огня любви, но она держалась еще, когда Флахсман оставил Крым, держалась, как гора Швейцарская, подмытая горными потоками. Но когда он приехал в гранитный Петербург, когда тоска одиночества среди многолюдства начала грызть его сердце – холодность Флахсмана рухнула вдруг, будто тяжкая лавина Швейцарских гор, которая рушит горы, засыпает долины, губит все и сворачивает реки в их течении. Хаос души Флахсмановой слышал небесную гармонию любви, и юноша почувствовал сильно и пламенно, что только любовь Амалии, только сердце ее укротят бурю его сердца и возвратят ему счастие.

Так протекало время. Флахсман не мог сблизиться с дядею Амалии и не замечал перемены в этой, дымящейся беспрерывно, флегматической фигуре. Но наблюдатель посторонний мог бы заметить постоянные изменения в высокобаронской персоне дяди Амалиина.

При первой встрече с Флахсманом в Иркутске барон подумал, после продолжительного разговора: «Зачем он приехал сюда? Верно, не за чинами, не за деньгами, не за тем, чтобы меня столкнуть? Неужели так? Правда, у этих русских часто и многое так делается; иное дело мы... хм!»

Флахсман начал служить усердно, деятельно, без всяких претензий, и барон опять подумал: «Чего он ищет своею службою?»

И барон недоумевал, что думать, когда вдруг однажды увидел он Амалию и Флахсмана, прогуливающихся в саду, в жарком разговоре. «Неужели о погоде говорят они так усердно?» – подумал барон. И вот ярко блеснула у него мысль: «Уж не любовь ли это?» Тут начал он думать, что бишь такое любовь? взял старую энциклопедию, отыскал слово: Liebe и прочитал все признаки любви. Он испугался, увидя, что любовь делает чудеса и ведет к великим глупостям. «Ну! если Флахсмана завела в Сибирь любовь?» – вскричал он невольно – и целый час ходил по комнате, не принимаясь за трубку.

«Да!» – сказал наконец барон. На другой день Амалия призвана была в кабинет, и дядя прочел ей огромную лекцию о любви, об осторожности, какую должна наблюдать молодая девушка. С Флахсманом начал он поступать начальнически, холодно, важнее прежнего.

– Но что ж за беда любить Флахсмана? – думала Амалия. Вообще, из всяких лекций, мы не многому научаемся. Но польза их в том, что систематическое изложение предмета поясняет, устроивает наши идеи. И Амалия, выслушав дядю, узнала, что она точно любит Флахсмана и что Флахсман ее любит.

Дело пошло без перемены, а барон сделался совсем другой человек: наблюдательный, уклончивый, размышляющий. «Плохо!» – сказал он наконец и призвал Флахсмана к себе.

Тут, после тысячи околичностей, эпизодов, вставок, учтивых уверений, и проч., и проч., барон спросил: «Какие виды имеет г-н Флахсман в дружеском обращении с семейством его баронской чести?»

Флахсман заговорил, как вдохновенный. Он забыл и дядю, и все отношения, и признание в пламенной страсти, надежда получить руку Амалии излились в самых горячих словах.

Барон молчал, ходил мерными шагами и наконец спросил: «Знает ли Амалия о ваших предположениях?»

Это слово охладило Флахсмана.

Тут дядя Амалии завел длинную речь, как нехорошо расстроивать семейственное спокойствие людей благородных; как должно быть предусмотрительну в своих делах и проч. и проч.

«Но разве ваша племянница не может отдать мне руки и сердца?» – спросил его быстро Флахсман. «Нет! – отвечал барон. – Уже давно рука ее назначена другому, сыну моего старого приятеля барона Фон-дер-Кольессера, который соглашается принять фамилию барона Шперлинга-Кольессера и получить мое имение и Амалию».

«А если я прошу только Амалию и не требую за нею ничего?»

Барон побледнел и задрожал. Флахсман изумился: он не знал, что барон ужаснулся мысли: быть последним Шперлингом на белом свете, когда Амалин муж будет не барон и не примет имени Шперлинга!

Едва не задыхаясь от досады, барон расстался с Флахсманом и побежал к Амалии.

Он застал ее занятую рисованьем, и так занятую, что она не приметила, как вошел дядя и стал за нею. О страх! Амалия дорисовывала – портрет Флахсмана, любовалась своею работою, глядела с восторгом на портрет и наконец – крепко прижала его к губам своим!

Барон обмер, и – в первый раз в жизни вышел из себя: начал бранить Амалию, говорить, как дурно, нехорошо целовать портреты молодых мужчин; рассказал о своем разговоре с Флахсманом, о предположенном союзе с бароном Фон-дер-Кольессером, об отказе Флахсману.

Все высказал барон фон-Шперлинг. Какие были этого следствия?

6

СЛЕДСТВИЯ

Совсем не те, которых ожидала высокобаронская персона. Вот что он сделал.

Амалия немедленно была удалена из комендантского дома; дядя велел ей ехать к приятельнице его, старой бригадирше, с которою познакомился по рекомендательному письму от одной лифляндской баронши и у которой постоянно, во все время пребывания своего в Иркутске, он обедывал по воскресеньям. Бригадирша, вдова, брюзгливая старуха, вошла в ужасное положение дел барона Шперлинга, и как она жила одна, кроме ворожбы картами ничего не знала, то и обещала барону стеречь Амалию так, чтобы ее никто не увидел.

Тотчас отправил барон письмо к высокопочтенному барону Кольессеру, в котором известил его, что зимою получит он отпуск и приедет с племянницею в Лифляндию.

Флахсман немедленно получил приказ коменданта: ехать за Байкал, в Цурухайтуевскую крепость, и заняться там, по секрету, надзором за движениями китайцев.

Барон ждал бури и готовился к слезам и просьбам со стороны Амалии, к бешенству и сопротивлению со стороны Флахсмана. Уже соображал он, что надобно ему отвечать, как говорить, и удивился, не видя никакого беспокойства, не слыша никакого шума. Правда, Флахсман побледнел, узнав волю коменданта; на глазах Амалии навернулись слезы, когда ей велено было отправиться к бригадирше; но и Флахсман и Амалия не противоречили. Флахсман просил только позволения прожить в Иркутске два дня.

Барон был в восторге и, потирая руки, ходил по своему опустевшему без Амалии дому. Вдруг доложили ему, что бригадирша изволила к нему пожаловать.

Сердце барона забилось не на добро. Как рассердился он, узнавши, что старуха открыла ужасный заговор и что в эту же ночь Амалия условилась бежать с Флахсманом! Сомнения никакого не оставалось: священник подгородного села, старый знакомый бригадирши, сам приезжал к ней сказать, что адъютант его превосходительства, господина барона и кавалера, был у него и предлагал ему сколько угодно денег, если только он согласится обвенчать его благородие с какою-то девушкою. А поелику его благородие прибавлял к сему страшные угрозы за открытие тайны, то и принудил его согласиться. Но священник, как поверенный ее высокородия, знал тайную склонность племянницы его превосходительства к его благородию, посему и решился сообщить сию весть ее высокородию, прося милостивой защиты.

– Знает ли Амалия, что тайна побега открыта? – спросил барон.

– Нет; я почла долгом сперва известить вас.

– Вы поступили весьма благоразумно, и я прошу вас молчать и не говорить ей ни слова.

Вечером скрытная стража расставлена была вокруг дома и сада бригадирши. Настала ночь. Сам барон скрылся в саду, и в самую полночь у садовой калитки постучались тихонько: это был Флахсман. Несчастный юноша! Он не знал, что Амалия была уже в доме своего дяди и хотя не слыхала ни от кого ни одного слова, но видела, что все открыто. Флахсмана встретил сам барон.

Что говорили они, не знаю. Но Флахсман в ту же ночь оставил Иркутск и отправился в назначенный ему путь. Он не застрелил барона? Он остался на службе? Он отказался от Амалии? – спросят меня и прибавят к этому, что Флахсман не любил ее; что он был холодный молодой человек; что Амалия была кукла, которая испугалась первой грозы своего дяди. Увидим, увидим! Я хочу рассказывать далее и не стану ничего говорить наперед: пусть события сами за себя говорят.

7

МЕРТВЕЦ-УБИЙЦА

Прошло около года после описанных нами событий. Сибирская природа улыбнулась минутною весною, покрасовалась коротким летом и снова облеклась в белые, снеговые покровы. В это время случилось происшествие ужасное и непонятное.

За Байкалом, в одном большом селе, населенном отчасти ссылочными в Сибирь, отчасти переселенцами из России, старообрядцами, которые ушли в леса забайкальские, с своими закоснелыми суевериями и предрассудками, скончался крестьянин. Гроб его вынесли в церковь, с тем чтобы на другой день, после обедни, отпеть и предать общей всех матери.

С вечера началась погода, разыгрывалась и разыгралась, как свободный зверь в лесах сибирских. В полночь ветер завыл, словно голодный волк, загремел, как гром на Хамар-Дабане; снег клубами несло по дороге, крушило, вертело; леса ломало, и ни зги не было видно ни в поле, ни в лесу. Священник села, о котором мы упомянули, встал в назначенное для заутрени время. Мальчик, внук его, также поднялся, получил благословение дедушки и пошел благовестить, между тем как дедушка его надевал чебак свой (теплую сибирскую шапку) и потом тихо побрел в церковь. Дьячок был болен; православные слышали звон колоколов, разносимый порывами ветра, но – ни одна набожная старушка не пошла в церковь. Некоторые встали было, выглянули в окошко и, не видя света божьего от метелицы, затеплили свечки, помолились и легли снова спать.

Между тем рассвело; буря утихала, небо начинало проясниваться; в доме священника все встали; самовар кипел на столе – священник не возвращался. Старушка попадья выглядывала, смотрела – нет священника, нет и внучка! Где они? Беспокойство усиливалось; послали в церковь.

Церковь была растворена; снег занес крыльцо ее; нет ни следов, ни признаков ходьбы! Вошли в церковь: нездешний житель лежит в гробе, тих, спокоен, окоченел; лицо его от холода посинело, покров сброшен, венец на земле, и – о ужас! Священник, мертвый, лежит невдалеке от гроба; в руке его кадило; голова пробита, и кровь запеклась и застыла на седых волосах!

На вопль и крик сбежался народ и с трепетом смотрел на страшное зрелище. Тут только хватились внучка священникова: его не было; начали искать и, наконец, нашли за клиросом, без чувств. Он очнулся, трепетал, долго не мог говорить, наконец косноязычно и несвязно рассказал, что видел. Отблаговестив и отзвонив веревками, снизу протянутыми на небольшую колокольню, мальчик, робея, вошел в церковь и увидел, что дедушка его уже начал заутреню. Служение продолжалось; всюду было тихо, только ветр стучал окошками, снег колотил в окна и буря выла вокруг церкви. Вдруг – гроб с мертвецом затрещал! Мальчик оробел, ноги его подкосились, язык окостенел во рту. Священник подошел ко гробу, но не смел приблизиться, слушал и, ободрив внучка, начал продолжать заутреню. Вдруг опять трещит гроб, слышно стенание – холод пробежал по жилам мальчика... Он помнил еще, что священник взял кадило, начал молитву, подошел ко гробу, и вдруг мертвец поднялся, вскочил из гроба, ударил чем-то священника, и тот повалился на пол... Более ничего не видал и не слыхал мальчик. Обезумев, бросился он сам не зная куда и опомнился только тогда, когда пришли люди...

8

УЖАСНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ

Рассказ о сем неслыханном событии изумил всех. Приехали следовать, смотреть; следовали, смотрели и ничего не нашли. Мертвец был освидетельствован, все допрошены: никто не понимал, как случилось страшное дело. Рассказ мальчика казался сказкою. И вот мертвеца и священника схоронили. Между тем везде разнеслась весть.

Село, где учинилось такое неслыханное дело, стояло на большой дороге из Нерчинска к Байкалу. На первой после него станции, когда рассказали там ужасное происшествие, когда начались толки, ямщик сказал товарищам, что он в ту самую ночь вез офицера, что они сбились с дороги и когда добрались до села, где случилось убийство, ямщик, человек новый, не знал, какое это село и где дорога. Они ехали между тем и при самом въезде увидели растворенную церковь. Офицер соскочил с саней, вбежал в церковь и через несколько минут выбежал оттуда, бросился в сани, велел ямщику гнать скорее. Более ничего не знал ямщик.

Рассказ ямщика тотчас передали смотрителю; тот почел его столь важным, что поспешил узнать подробности.

Проезжавший офицер был – Флахсман! Он, точно, в ту ночь проезжал через село и заходил в церковь. Поскакали по следам его и нашли его в Селенгинске: тут он остановился, ибо в жестокую вьюгу простудился жестоко и лежал без памяти, в злой горячке.

Бедный юноша! Ты был на одре смерти, а правосудие считало минуты жизни твоей, обрекая тебя ужасным подозрением! Болезнь Флахсмана продолжалась долго, и когда он опамятовался прошло уже несколько недель, и – перед ним раскрылась страшная бездна!

По сношению с Иркутском узнали, что убитый священник был тот самый, который открыл коменданту тайну побега Амалии с Флахсманом, который разрушил все мечты Флахсмана о счастии. Когда барон фон-Шперлинг встретил Флахсмана в саду бригадирши, Флахсман казался бешеным. Он хотел схватиться за шпагу, но удержался, сказал барону, что он надеется с ним особенно видеться, и клялся, что изменник погибнет от руки его. Барон слышал сии слова, и Флахсман в самом деле приезжал к священнику. Испуганный священник скрылся от него и так оробел, что не смел никуда появиться. Он не почитал себя безопасным, и как тогда искали священника для определения за Байкал, в старообрядческое село, он просил определить его туда и немедленно уехал к месту своего назначения. Надобно было несчастной судьбе Флахсмана – вести его именно через это село; надобно было ему зайти в церковь...

Друзья мои! вы не поверите тому, чтобы низкое мщение могло храниться в душе благородного юноши столь долгое время, и что пользы было ему в смерти священника, если уже и предположим, что человек для пользы какой-нибудь может решиться на преступление ужасающее? Но разве не бывало примеров обвинения самого нелепого? История Каласа разве не повторялась – скажем с горестным чувством – даже и в наше время? Против Флахсмана было все. Рассказу внука священникова никто не верил. Сам барон Шперлинг слышал угрозы Флахсмана, нашлись добрые люди, которые перетолковали самую болезнь его...

И вот – Флахсман едва выздоровел, как его арестовали, остановили. С изумлением невинной, чистой души слышал он ужасную историю и содрогнулся, узнав о том, что на него пало подозрение в убийстве! Открылось еще более: узнали, что Флахсман оставил Цурухайтуевск без дозволения коменданта; что он самовольно кинул свой пост и скакал в Иркутск. Флахсман откровенно сказал, что он лично оскорблен был покойным священником и в первом жару гнева произносил угрозы; что он отлучился и ехал в Иркутск по своим собственным делам, ибо видел по письмам из Петербурга, что просьба об отставке его была там давно получена и он от службы отставлен, но коменданту иркутскому угодно было все это скрыть. Флахсман хотел объясниться с бароном Шперлингом; точно ехал по дороге в метель и заходил в церковь, видел там гроб и покойника, видел и священника, но только спросил его о дороге.

– Ямщик говорит, что вы со страхом выбежали из церкви и велели скакать скорее. Для чего это?

– Вид священника напомнил мне несчастное событие моей жизни.

– Следственно: вы имели с ним прежде дела. Какого рода были ваши с ним сношения?

– Этого не скажу я никому.

– Что побудило вас выйти в отставку?

– Этого вы не узнаете никогда.

9

ГДЕ ОПРАВДАНИЕ?

Угрюмое молчание судей и следовавших дело чиновников показывало, что на сей вопрос ответ не мог быть благоприятен. Флахсман поклялся сам себе, что имя Амалии не выйдет из уст его. Не открывая дел, бывших между бароном фон-Шперлингом и им, он не мог почти ничего говорить.

Получено было повеление из Иркутска: отправить Флахсмана туда. Уродливая, красная рожа, в полицейском мундире, прислана была для препровождения его. Флахсман казался спокойным, равнодушным, бесчувственным ко всему, что вокруг него происходило.

Следствие тянулось весьма долго; уже снова сибирские леса оделись зеленью, и, поздние пришельцы, ласточки вились по полям и долинам.

Почтовая телега, в которой сидели Флахсман и красноносый его провожатый, летела вихрем. Флахсман молчал; товарищ его также, награждая молчание ерофеичем на каждой станции и криком на запрягавших лошадей ямщиков. Наконец они приближались к Байкалу. Флахсман заметил, что товарищ его удвоивал порцию ерофеича, становился беспокойнее, беспрерывно оглядывался по дороге и, наконец, вдруг вздумал остановиться при въезде в лес, простирающийся к берегу Байкала.

– Зачем вы остановились? – спросил его Флахсман.

– Вот зачем! – отвечал красноносый, вытащил ружье, саблю, два пистолета и начал осматривать их.

– С кем же хотите вы сражаться? – спросил насмешливо Флахсман.

– Да во что же мысли ваши углублены? – отвечал вопросом красноносый. – Разве не слыхали вы рассказов о разбойниках? Ведь Сохатый опять ушел из тюрьмы и, говорят, здесь бродит, а дело к ночи.

Флахсман замолчал, завернулся в свою шинель. Телега поскакала; въехали в лес, и вдруг, на глубоком овраге, раздался крик из леса: «Стой»! Ямщик стал как вкопанный.

– Ах ты, бездельник, мошенник, разбойник! – захрипел красноносый. – Погоняй!

– Извини, барин, – отвечал ямщик, – разве не слышишь...

– А вот я с ним управлюсь, – заревело чадо полиции и в ту сторону, где раздался крик, выстрелило из ружья. Ямщик поскакал под гору, и двадцать голосов раздалось со всех сторон. Вся храбрость полицейского пропала.

– Мать пресвятая богородица! – завопил он. – Мы пойманы!

– Чего вы боитесь? – сказал Флахсман. – Если они остановят нас, им нечего взять; если захотят убить, продадим дорого свою жизнь! – Он соскочил с телеги, схватил два пистолета и дожидался разбойников, бежавших к ним с обеих сторон леса.

10

СОХАТЫЙ

– Товарищи! – кричал огромный мужичина, бежавший за другими. – Не бить их, не бить! Атаман велел взять живьем! Это наш приятель Курносов! – «Курносов! – закричали с диким воплем все другие. – Где он? где он?» Флахсман с изумлением смотрел на шайку разбойников. Все они были одеты в богатые шелковые, суконные, бархатные куртки; остальная одежда соответствовала такому наряду, хотя все одеяние было в беспорядке, измарано, изорвано. Ружья, пистолеты, рогатины, кистени, сабли составляли оружие разбойников.

– Стойте, бездельники! – вскричал Флахсман . – Чего вы хотите? Денег у нас нет!

– Господин ваше благородие! не дурачься! – отвечал приятель Курносова. – Брось пистолеты; мы тебя не тронем – вот те бог, не тронем, а если пикнешь, то смотри – мы сделаем из тебя решето!

Флахсман хотел отвечать; но две сильные руки схватили его сзади, вывернули пистолеты и сшибли его с ног.

– Ай да Митюха! – вскричали другие. – Молодец! Молодец! Наша взяла.

Оглушенный в падении, Флахсман был немедленно связан и слышал, как неистовые крики и вопли бешеной радости раздались между разбойниками, когда из-под телеги вытащили они его сопутника.

– Он! он! это он! – слышен был крик. Бледный, как испуганный индейский петух, исполнитель правосудия дрожал, словно в лихорадке.

И Флахсмана, и его сопутника положили в телегу, закрыли рогожею и повезли. Тихо, безмолвно шли вокруг телеги разбойники; слышно было, что с дороги своротили, ехали по лесу. Темная ночь была уже, когда телега остановилась. Флахсмана вытащили сначала и понесли к большому огню, расположенному среди небольшой поляны.

Тут набросано было множество подушек, пуховиков, и на них в беспорядке лежало и сидело множество народа. Вся шайка состояла более нежели из пятидесяти человек. Множество оружия всякого рода было повсюду разбросано; в стороне висели котлы и кипели щи, каши. Разбитые сундуки, ящики, тюки товаров лежали в стороне.

Как регулярный солдат отдал отчет атаману один из разбойников.

– Подавай сперва офицера, – сказал грубым голосом атаман.

Флахсмана принесли к нему. «Развязать!» – сказал атаман. Приказание было немедленно исполнено. Когда, расправляя свои затекшие и опухшие от давления веревок руки, Флахсман сел на земле и думал о своей странной участи, атаман начал говорить.

– Тебе, господин офицер, бояться нас нечего. Как солдат, ты своими копейками нас не обогатишь, да и попался ты к нам потому, что ехал вместе с полицейскою пиявицею, до которой мы давно добирались. Ее мы не выпустим живую... – Тут атаман замолчал на минуту, вдруг вскочил, снял шапку и вскричал:

– Как? это вы, ваше благородие, господин Флахсманов? Батюшка ты, отец мой! родимой, кормилец!

Флахсман смотрел с изумлением и удивлялся перемене разговоров разбойника.

– Вы не узнали меня, мой спаситель, мой отец! а я помню хлеб-соль вашу... ведь я Сохатый.

Тут Флахсман поднялся на ноги и сказал Сохатому, что он не помнит, когда бы успел сделать для него что-нибудь.

– А не ты ли накормил меня, напоил, когда года два назад я был пойман и привезен в Иркутск? Я не смею поцеловать твоей ручки, потому что кровь неповинная запеклась на мне, и я осквернил бы тебя своими нечистыми устами. Да как ты зашел сюда? Как тебя, дорогого гостя, я нахожу на моем пепелище?

Флахсман содрогнулся.

– Нет, господин Сохатый! я не гость твой, и между мною и тобою нет никаких сношений. Если ты помнишь мое небольшое благодеяние, то вели меня выпроводить отсюда, отпусти полицейского офицера и ямщика, и да приведет тебя бог к раскаянию.

– Нет! ты не уедешь, не переночевав здесь, а завтра будешь на пути, дороге своей. Но полицейского разбойника я не отпущу; он со мною поплатится...

– Как ты смеешь?

– Господин офицер, ваше благородие, не извольте спорить: я здесь господин!

– Прошу тебя, господин Сохатый, если ты помнишь добро, то отпусти его.

– Эх! многого ты просишь, батюшка, ваше благородие! Знаешь ли, что нет в целой Сибири злее этой собаки? Это варвар наш, мучитель, злодей!

– Он исполняет свою должность.

– Должность? – заревел Сохатый. – Должность! Разве должность его выдумывать самые лютые наказания для нас, несчастных? Разве должность велит ему упиваться нашею кровью... Эй! ребята! Где та собака? давай его сюда!

Разбойники вскочили; зверские крики раздались по лесу; несчастного сопутника Флахсманова приволокли к огню.

– Баню ему! – закричал Сохатый.

– Холодную али теплую? – спросил хладнокровно один разбойник.

– Теплую, болван!

Разбойники начали выгребать уголья раскаленные... Состояние Флахсмана было ужасно. Он содрогался при виде этого отверженного обществом человеческим сборища убийц и злодеев, собравшегося в диком сибирском лесу и готового мстить мучениями жестокосердию, с каким отвергали его люди.

– Слушай, господин Сохатый! – сказал Флахсман. – Вели остановиться и слушай, что я тебе скажу.

– Рад век тебя слушать, батюшка, ваше благородие! только не проси меня об нем... – Он указал на несчастную жертву, лежавшую от страха без памяти.

– Вспоминаешь ли ты иногда о том страшном часе, который подкрадывается к нам нежданно и нечаянно и ставит нас прямо перед лицом бога?

Сохатый задумался и с диким стоном вскричал потом:

– Нет! никогда, никогда! но он – будет свидетелем, что не я тому виною!

– Несчастный! ты помнишь бедное благодеяние человека и забыл благодеяния божии... – Ужасная хула исторглась из нечестивых уст Сохатого; но он сам испугался слов своих, перекрестился и прибавил: «Господи! прости мои согрешения!»

– Итак, мне остается одно. Смертию несчастного моего сопутника ты погубишь меня!

– Тебя? нимало! Разве ты ответчик за то, что твоего товарища погубит кто-нибудь? А как погубит: изжарят ли, повесят ли, какое кому дело.

– Знай же, что он вез меня в Иркутск как человека, обвиняемого в ужасном преступлении, и если вы умертвите его, а меня отпустите – подозрение на меня утвердится еще более...

– Как, ваше благородие? Так и ты напроказил?

– Молчи! Я невинен, и это наказание божие несу с терпением. Но я никогда не осквернял души своей пороком...

– Так не тебя ли обвиняют в смерти попа, в старообрядческой деревне?

– Разве ты знаешь?

– Как же мне не знать? Но мог ли я думать, чтобы ты был этот офицер... Ну! делать нечего... – Сохатый остановился, сжал крепко кулак, ударил себя в лоб и подошел к бедному полицейскому офицеру.

– Эй ты, кислая шерсть! вставай: Сохатый говорит тебе!

К удивлению Флахсмана, сопутник его вскочил на ноги как встрепанный.

– Выменяй образ вот этого господина офицера: я – отпускаю тебя!

Со всею низкою подлостью полицейский повалился в ноги разбойнику. «Эдакий мерзавец! – вскричал Сохатый... – Утащите его в телегу, но не троньте ни волоса», – сказал он своим товарищам.

– Атаман! – так начал один разбойник. – Дай слово вымолвить: ты обещал его нам...

– Нельзя!

– Прости, а мы тебя не послушаем.

– Как? – заревел Сохатый, и – с одного удара кулаком, разбойник полетел с ног. Другие на смели противоречить.

– Теперь, ваше благородие, сметь ли вас попотчевать... Да, сегодня у нас постное; ведь сегодня пятница, а вы кушаете ли...

Флахсман не мог долее смотреть на отвратительную картину шайки разбойников. «Благодарю тебя, но если ты отпустишь нас, то вели отпустить немедленно...»

– Сей час будут готовы ваши лошади, – отвечал Сохатый. – Эх! мое небесное царство продолжалось недолго, недолго смотрел я на тебя, батюшка...

– Господин Сохатый! – сказал Флахсман. – Неужели ты столь мало видел доброго от людей, что маленькое сострадание мое так тебе памятно?

– От людей! Кого ты называешь людьми? Где ты видал их, ваше благородие? Ох! если бы ты знал да ведал... Было времячко, что на душе моей не было крови христианской, но люди втащили в тяготу греховную, – пусть же они и платят за вход мой в тьму кромешную; пусть же они, загородив мне дорогу даже в монастырь, где мог бы я выплакать себе спасение, рассчитываются со мною, за каждый день грешной жизни моей, слезами и кровью... Но я заговорился с тобой, ваше благородие, и забыл сказать, что я хочу спасти тебя от напраслины...

– Как? Ты?

– Да, я, Сохатый! Я знаю, чей был грех смерть этого попа, его убил старообрядец Филат Петров. Он с вечера спрятался в церковь, лег на место мертвеца и убил священника, а потом убежал из церкви. Завтра же схватят и повезут его мои ребята по Кругоморской дороге в Иркутск: тебе хочу я услужить; да и дело недоброе: за что, проклятый, погубил старика? Пусть бы из серебра, из золота... – Сохатый задумался и, помолчав несколько минут, сказал: «За все это полагаю я на тебя, ваше благородие, обязательство. Послушай: в эту зиму я ворочусь в Иркутский острог. Полно, будет с меня! Если ты вспомнишь мое добро, то вели захлестнуть меня с одного раза – не мучьте меня: одного только прошу!.. Да когда приведет тебя бог на святую Русь, отыщи там старика... Но, нет, нет! не отыскивай, не говори никому... Поезжай с богом!..

11

НЕОЖИДАННОСТЬ

Когда Флахсман увидел себя на большой столбовой дороге, днем, без всякой опасности; когда перед ним засветлели волны Байкала и забелели стены Посольского монастыря, он не верил глазам своим, чувствам своим: все событие казалось ему тяжким сном. Товарищ его, от испуга, сделался болен жестокою горячкою и остался в селении на берегу Байкала. Флахсман отправился на казенном гальоте. Противный ветер задержал их на Байкале. Казалось, что судьба преследовала Флахсмана повсюду. Наконец, переезд благополучно был совершен.

Флахсман немедленно явился к барону фон-Шперлингу.

Трусость, робость изображались на высокобаронском лице, когда Флахсман стал перед ним.

– Поздравляю вас, господин Флахсман! – сказал барон, идя к нему навстречу.

– С чем? – спросил Флахсман.

– С оправданием.

– Разве известно уже, что клевета, взведенная на меня, есть нелепость ужасная и неимоверная?

– Все известно. Вчера получили мы известие из Селенгинска, что убийца сам пришел и объявил о своем злодействе. Мне должно еще вручить вам бумагу: вот ваша отставка.

– Благодарю вас.

– Вы, верно, думаете возвратиться в Россию?

– Нет!

– Как? – вскричал барон с изумлением.

– Нет! повторяю вам. Теперь можем мы объясниться с вами, господин барон! Я жил до сих пор только для того, чтобы предложить вам отплату, за все, что вы для меня сделали. Я думал, что счастие мое будет вашим счастием: вы не хотели, вы отвергли меня, вы забыли слово, данное умиравшей вашей сестре: сделать счастливою дочь ее; вы забыли священнейшие узы родства и дружбы, оскорбили благородного человека, не страшась замарать честь вашей племянницы, пятнали меня ужасным преступлением...

– Чего же вы хотите? – сказал барон разгорячаясь.

– А! вы не привыкли, видно, к таким разговорам! Я хочу стреляться с вами!..

– Не откажусь, – вскричал барон, – но и теперь скажу, что племяннице моей не бывать за вами: я клянусь...

Тут дверь в кабинет барона растворилась, и – вошла Амалия. Ни Флахсман, ни дядя не ожидали ее. Она была бледна, как смерть – изумление сковало уста барона.

– Дядюшка! – сказала Амалия тихим, но твердым голосом. – Я повиновалась вам, как отцу моему, пока вы поступали со мною, как отец. Когда вы нарушили обещание моей матери: быть отцом моим, я почитала себя вправе поступать, как мне угодно. Знайте и не клянитесь: я буду женою его – сердце мое избрало его – никакая власть не принудит меня переменить слово, мною ему данное.

– Вы, сударыня, забываете все приличия... – сказал барон.

Амалия прервала речь его.

– Приличия! – сказала она с горькою усмешкою. – Бедные приличия уступают, где говоришь что-нибудь другое. Перед вами я повторю слова мои: Флахсман или – никто! Вы не хотели меня выслушать доныне; вы терзали меня, терзали избранного мною. Знайте же, что я не могу уже возвратиться: я жена Флахсмана, и бесчестие мое может быть прикрыто только благословением священника!

Слезы полились из глаз ее. Она упала на стул. Флахсман изумился, побледнел.

– Амалия! что вы говорите! – вскричал он.

– Молчите, если вы меня любите, Флахсман! Молчите – пусть он решает...

В это время барон шагал по комнате; крупные капли холодного пота выступали на лбу его. Амалия плакала; Флахсман не понимал, что с ним делается.

Вдруг барон остановился.

– Ну! – сказал он. – Итак дело кончено, Флахсман! Мы будем стреляться, но не вы, а я вас вызываю: вы погубили все мои надежды! вы обесчестили знаменитую отрасль баронов Шперлингов. Женитесь ли вы на Амалии?

– Я отдал бы жизнь за нее; я готов бы был принять тысячу смертей за ее счастие... Вы позволите мне назвать ее моею супругою, при вас, в сию минуту?

– Да!

И Флахсман обнял со слезами Амалию, у которой щеки вспыхнули, как роза.

12

КАКОВО ЛЮБИЛА ОНА?

На другой день, без всякой пышности, Флахсман повел Амалию к алтарю. Когда священный обряд совершился и барон фон-Шперлинг поздравил Флахсмана и Амалию, она стала перед ним на колена и сказала ему: «Теперь, начните же наше счастие прощением всего, дядюшка! Я не встану, пока вы меня не простите!» Барон растрогался. Несмотря на пустоту души и сердца, он любил Амалию, обнял ее и сказал с чувством: «Дитя мое! Бог да простит тебя во всем!»

Амалия встала; лицо ее пылало, глаза ее горели. «Узнайте же, – сказала она, – что вы были обмануты: непорочную душу и чистое сердце получил в сию минуту перед алтарем божиим друг мой! Я не посрамила благородной крови моих предков».

– Как! – вскричал барон. – Следственно, слова твои, что ты погубила себя...

«Были ложь – клянусь вам памятью моей матери – ложь, и вы видите теперь: вам ли было разлучить сердца наши, когда я, девушка, не смевшая сказать вам единого слова, решилась для него покрыть себя стыдом и поношением в глазах ваших... И чего мне стоили немногие слова, которые вчера я сказала вам...» Амалия скрыла горящие свои щеки на груди Флахсмана.

– И вы, милостивый государь, – сказал важно барон, – согласились с нею?..

– Нет! – отвечал Флахсман. – Но мог ли я изменить Амалии? И если я виноват, то – смотрите (он стал на колена перед бароном) – я прошу у вас прощения. Дозвольте мне счастием Амалии, детскою к вам любовью загладить мою вину!

Барон обнял Флахсмана и Амалию, и – заплакал. «Мы все были виноваты: забудем прошедшее!» – сказал он.

Повесть моя кончилась, друзья мои! Вскоре Флахсман и Амалия уехали из Иркутска. Барон фон-Шперлинг последовал за ними. Счастие Амалии убедило наконец старика, что есть на свете нечто выше привязанности к родословным, и когда первый сын Флахсмана родился, когда барон выпросил позволение передать ему свое имя, он сказал: «Родословная дело важное; но, если притом еще вмешается любовь, оно вдвое делается важно». Фраза была довольно несвязна, и, может быть, потому барон сопроводил ее густым облаком табачного дыма.

**К уроку 5.**

**Иван Савинов. «Сохатый».**

**Иван САВИНОВ**

**СОXАТЫЙ**

*Повесть*

I.

В мрачных ущельях гор Байкальских – там, где они в необозримых степях, подобно великанам, возвышают снежные свои вершины; где величественный Байкал с глухим шумом разбивает седые волны об кремнистые их подошвы – в сих ущельях скрывалась шайка разбойников, которая делами страшными и бесчеловечными, наводила ужас на всю страну. Рассказы о их жестокостях, с обыкновенными прибавлениями, переходили от деревни до деревни. Там они сожгли селение и кровью жителей затушили пожар; похитили юных девиц, и увлекли их в горы. Там разграбили они обоз богатого купца, и все провожатые были умерщвлены. Едва не каждой день разносились подобные слухи, и несчастные жители трепетали одного имени их атамана.

Сей атаман назывался Сохатый. С необыкновенною силою соединялся в нем рост почти исполинский. Черные волосы вились кудрями закрывая в половину лице его; отчего оно делалось мрачным и жестоким. Глаза его были быстры, и во время гнева ужасали своим блеском. Он носил большие усы и окладистую бороду. Шайка повиновалась единому его взору, и двигалась по одному мановению. Он был дик и кровожаден, и часто для одной забавы стрелял в людей, как в назначенную мету. Чудовищная его фигура ужасала каждого. Часто один, вооруженный двумя парами пистолетов, с огромной саблею и с ружьем за плечами, являлся он среди хороводов, и робкие жители деревень разбегались в разные стороны, Он выбирал лучшую из поселянок, брал ее на мощные руки, и удалялся в горы. Так многие девушки, в объятиях злодея, горько оплакивали мирный кров отца и тихие удовольствия деревни. Злодей одевал своих любимцев в дорогие – награбленные – ткани; украшал их жемчугом и разноцветными камнями. Но сквозь золото текли их слезы, и редкая из них переносила не только буйство и жестокость, но и ласки разбойника. Часто, в сопровождении двух или трех самых удалых из его шайки, приезжал он в селения во время отправления священных обрядов брака; врывался в церковь и святотатственными руками от самого алтаря похищал юную невесту. Пылкие юноши, в отмщение за пожары, убийства, грабежи, увезение молодых девушек, часто ходили отыскивать гнездо злодея; но они уходили – и никогда не возвращались.

Таков был атаман буйной шайки, наведшей ужас на всю страну, Робкие трепетали одного имени; смелые страшились встречи с ним, и матери пугали плачущих детей своих именем Сохатого.

II.

В сие время в Иркутске жил всеми уважаемый гражданин, Авдей Аввакумович Подгорный. Сограждане любили его за честность и бескорыстие; плуты страшились его всегдашней правды, а разбойники его силы и меткой стрельбы. Раздраженный гнусными злодействами Сохатого, он не раз в кругу сограждан проклинал его, и при первой встрече грозил ему смертию. Сии слова достигли слуха грозного атамана в шайке злодеев и Авдею Аввакумовичу был прочитан смертный приговор. Но в справедливом гневе он не страшился атамана, и даже в сообществе любимой жены и прелестной семнадцатилетней дочери, забывал его. Бог, по причинам, нам непонятным, и которые часто мы в слепоте называем неправедными, попускает добродетельному засыпать в бездействии и в надежде на Его Промысел, между тем, как злодей ставит ему сети, и часто, часто достигает совершенного успеха в своих предприятиях. Авдей Аввакумович продолжал заниматься своими делами, но слово Сохатого никогда не бывало пустым звуком: он поклялся погубить Авдея Аввакумовича, и случай сам предстал к исполнению его злодейства.

III.

После жестокой, истинно сибирской зимы, в которой слух о разбоях Сохатого почти совсем замолк, наступила красная весна. Жители Иркутска, чтоб насладиться свежим, весенним воздухом гор, выезжали из города и поселялись на лето в своих заимках (Заимками у сибиряков называются наши дачи и мызы). Авдей Аввакумович с своим семейством также поселился в своей заимке, расположенной на берегу быстрой Ангары. Там, садоводство и полевые работы составляли его забаву. Иногда, он по делам отлучался на короткое время в Иркутск, и потом снова возвращался в объятия любимой жены и нежной семнадцатилетней дочери Стефаниды. В одну из таковых его поездок в прекрасный весенний вечер, Стефанида поливала цветы, сожженные зноем сибирского солнца. Она с детскою радостью смотрела, как ее любимцы упоялись животворною влагою и роскошно развертывали стебельки свои. Вдруг выстрел, и вслед за сим стон, в коем она узнала голос матери, поразили слух ее. Лейка выпала из рук ее; она едва не лишилась чувств; но снова донесшийся до слуха ее стон матери возвратил ей силы, и она скоро вбежала в комнату. Какое зрелище! Буйная толпа разбойников грабила и ломала скромное убежище Авдея Аввакумовича; мать ее, пораженная смертною раной, лежала на полу, и кровь с силой била из ее растерзанной груди; посредине комнаты – Сохатый, – как демон разрушения, отдавал приказания грабить, и, что нельзя было увести с собой, разрушал. Увидя Стефаниду, которая, как мраморная прелестная статуя, стояла в дверях, разбойник с диким криком: тебя-то мне и надобно бросился к ней, схватил ее жилистыми руками своими, выбежал из комнаты и закричал: «Зажигай!»

Повеление его в миг было исполнено; пламя пожара понеслось со всех сторон, и скоро густой дым скрыл все здание от глаз уезжавших разбойников.

IV.

На другой день, поутру Авдей Аввакумович возвращался из города в свою заимку. Прежде еще издалека замечал он небольшой, но хорошо выстроенный домик; теперь же, хотя утро было так ясно, не было ни тумана, ни облаков, он не видал своего жилища. Это наполнило грудь его неизъяснимою, предчувственною грустью. Он медленно подвигался далее, и вскоре заметил черные остатки пожара. Сердце его сжалось; он ударил лошадь, и вскоре увидал обгорелые развалины своей заимки, Он окаменел. Но вскоре вспомнил, что жена и дочь его ищут, может быть, где-нибудь убежища. Он вышел из своей бесчувственности, и пошел в ближайший лес, где думал найти их. Но он отошел не далеко; пастух, встретившийся с ним, рассказал ему о нападении Сохатого, о убийстве его жены, о похищении дочери и сожжении всей заимки. Авдей Аввакумович не отвечал ничего на сострадательные слова доброго пастуха; чувства его были в избытке: он выдумывал один за другим планы мщения, и в ту же минуту оставлял их. Наконец одна мысль осветила ум его: он удалился от пожарища, и пришел в недалеко отстоявший аул братских Татар. Там рассказал он злодейство разбойничьей шайки, и призывал их ко мщению. Пять человек, более смелых, согласились с ним отыскать убежище Сохатого, и умертвить его, или пасть самим. Предприятие было неверное и опасное: шайка была совершенно предана своему атаману, и в случае нужды, вся легла бы за него. И так открытый бой не обещал никакого успеха: надобно было разбойников захватишь врасплох, и по сему это было отложено до вечера. Авдей Аввакумович провел день в ауле гостеприимных Татар.

V.

Поздним вечером отправились они в путь к горам Байкальским. Авдей Аввакумович шел впереди с одною только винтовкою; за ним следовали Татары, вооруженные луками. Они медленно, с осторожностью, без шума подвигались вперед в мрачных горных ущельях. Бродив долгое время, заметили они наконец, что из-за окружных гор поднимайся дым. Ведомые сим фаросом, они тихо выбирались из ущельев; и скоро увидали долину, окруженную со всех сторон горами, на коей расположилась шайка Сохатого. Костер, разложенный посредине, уже догорал: при тусклом его свете там и сям виделись разбойники, лежавшие в различных положениях на траве, одни и во сне держали пустые кружки. Атаман сидел на огромном пне, между двух человек, и находился в полусонном состоянии. Авдей Аввакумович, осмотрев все внимательно, приказал двоим из Татар умертвить часовых. Приказание было исполнено в точности: стрелы, пущенные с чрезвычайною меткостью, летели без шума, и вонзились в грудь обоих часовых. Оба они, окровавленные, пали на траву, не испустив крика: так был верен и силен удар. Сохатый, изумленный внезапным падением обоих часовых, наклоняется к одному, чтоб узнать причину: в сие время раздался гром выстрела, и Сохатый, пораженный пулею в голову, упал на тело часового. Разбойники, пробужденные выстрелом, вскочили с земли; но полупьяные, полусонные, они не могли рассмотреть, откуда произошел выстрел; осыпаемые тучею стрел, летевших из ущелья, пораженные, видя гибель многих товарищей, они обратились в бегство, оставя на поле все свое оружие. Победитель не хотел ничего: он искал своей Стефаниды. Но тщетны были все искания, тщетны были расспросы тяжело раненых разбойников: он не нашел своей Стефаниды. Не утешенный мщением, не достигши своей цели, он возвратился в Иркутск, куда уже достигла весть о его несчастии: все об нем сожалели; но когда он рассказал об истреблении всей шайки Сохатого, то благословения полились на него со всех сторон. Его приветствовали, как избавителя; жалели о нем, как о бездетном отце. Еще раз ходил он искать дочь свою, и еще раз напрасны были его поиски: Стефанида исчезла, как исчезает в воздухе надмогильный метеор. Безутешный отец только тогда находил отраду, когда видел, как покойно резвятся летним вечером на земном лугу хороводы, как безопасно тянутся богатые обозы.

Он умер. Все оплакали смерть его. Имя Авдея Аввакумовича и теперь еще с благодарностью воспоминается около Байкала, а имя Сохатого предано поруганию и проклятию, – но не забвению.

*1831*

*Ив. С–въ.*

**К урокам 6-8.**

**Иван Калашников. «Дочь купца Жолобова».**

Смотри текст романа в отдельном файле.

**К урокам 9-10.**

**Семен Черепанов. «Сибирячка».**

**Семен ЧЕРЕПАНОВ**

**СИБИРЯЧКА**

*Повесть*

I

«Эх вы соколики!» – весело крикнул ямщик – и тройка пустилась стрелой, словно с пожарной машиной, словно единственное на всем окрестном пространстве здание – почтовая станция – загорелось.

«Эх вы соколики!» – повторил ямщик, уже сдерживая лошадей у подъезда станции. Эта условная фраза значила: «едет щедрый барин», и потому все ямщики высыпали на крыльцо с хомутами, дугами и прочей сбруей, хотя нужны были одна только дуга и три хомута...

– Прикажете запрягать, сударь?

– Самовар! – лаконически отвечал приехавший молодой купчик, проходя усталою поступью от повозки до станции.

«Охтимнечинки, как я пристал»! – сказал приезжий, кидаясь на скамью. Слово «пристал», сказанное сибиряком, должно принимать за «устал», а «охтимнечинки» – самодельная композиция из междометия «охти», местоимения «мне» и частицы «чинки», характеризующей имена уменьшительные, любимые в сибирском наречии, с которым мы намерены познакомить несколько читателей, надеясь оказать услугу тем, кому случится быть в Сибири, в этом бассейне самого чистого золота, каким природа выпускает его из своих рук, – и самого смешанного русского языка, каким он сделался вследствие населения Сибири людьми, взятыми из всех русских племен и сословий и слившимися здесь в одно туземное целое. Сверх того, переселенцы, встретив в Сибири совершенно новые предметы и занятия, должны были усвоить многие слова из туземных языков: тунгусского, монгольского и даже китайского. И так, за вставление провинциальных слов в мою повесть я не страшусь, потому что в любой русской книге – романе или повести – вы снисходительно встречаете не только провинциальные, но даже иностранные слова и целые фразы, напечатанные чужими буквами...

Между тем, станционный смотритель, постепенно одевавшийся, от сапогов дошел уже до последней пуговицы сюртука и остановился в нерешимости: застегнуть ли ему ее или нет? Для разрешения этой важной задачи, он выглянул с самою взволнованною физиономиею в двери перегородки, отделявшей его комнату от назначенной для приезжающих. Увидав, что приезжий в партикулярном платье, смотритель успокоился и отвернул полу сюртука от пуговицы, с явным намерением показать, что сюртук не наглухо застегнут.

– Пожалуйте подорожную, – сказал он и протянул руку к лежавшему. Но ни ответа, ни подорожной не получил.

– Спит верно, – подумал смотритель и вышел тихо из комнаты, чтобы не разбудить приезжего, но лишь очутился за дверью, как закричал на ямщиков, будто сквозь тонкую дверь уж ничего нельзя было слышать в комнате.

Приезжий, впрочем, не спал, но был в самом упоительном состоянии лени: чтобы нисколько не нарушить этого блаженства, он не отвечал смотрителю станции и не отдал ему подорожной.

Такое наслаждение испытывается только в дороге, когда физика наша, постоянно обеспокоиваемая в продолжении трех или четырех часов толчками, останется на станции в неподвижном положении, растянутая вдоль скамьи. Этим наслаждением упиваются почтальоны на каждой станции, а скупцы, во всю жизнь свою трясущиеся над сундуками, на последней станции жизненного пути, самого тряского из всех путей.

Самовар, находящийся на службе без выслуги и потерявший на ней одну ногу, избекренясь стоял на столе и, хотя не с храбростью, но довольно шумно кипел.

Приказчик купца, человек пожилых лет и весьма истертой наружности, внес мешок, из которого явилось все нужное для чая, даже ром, исправляющий иногда должность сливок.

Благодаря усердию этого заместника сливок, наши усталые путешественники отдохнули и развеселились. Вдруг послышался колокольчик и вскоре экипаж остановился у подъезда и раздался голос ямщика, сказавшего лениво: – «Нут-ка вы, вороны»! Это значило, что барин скуп и на водку не дает.

– Ково, братска рожа, привез? – спросили ямщики приехавшего, родом из бурят, которых в Сибири называют братскими.

– Чиновника, рысаки вы этакие, – ответил тот тоном, понятным в весьма обширном смысле.

– Смирный верно?

– Не из сердитых.

Проклиная Сибирь, из экипажа вышел человек средних лет, в шинели.

– Надоело, – ворчал он, входя в комнату, – нельзя до конца доехать. – Он сбросил шинель и оказался военным штаб-офицером.

Молодой человек тотчас подошел к нему и, сказав: «мое почтение-с», – подал руку. Офицер посмотрел на него во все глаза, но не нашелся – не подать руки незнакомцу.

– Здравствуйте, – сказал он холодно, – с кем имею удовольствие говорить?

– Со мною-с, – ответил купчик, у которого в голове шумело.

– То есть, – сказал сердито офицер, – кому подал я руку?

– Мне-с.

– Вы шутите? – вспыльчиво и громко сказал военный.

– Никак нет-с... Покушайте-ка вот чаю, ваше благородие!

Офицер понял – в чем дело, и, не отвечая на выходку, спросил у смотрителя: нет ли другого самовара? Тот, вытянувшись столбом и застегивая давно уже застегнутую последнюю пуговицу сюртука, отвечал, что нет.

– Э, сударь, полноте, заехали в Сибирь, так не церемоньтесь, извольте кушать, – сказал купец и, примолвил: «не угодно ли с романеею»? – долил чай до последней возможности.

– Милостивый государь, что вы делаете?

– Лью романеи.

– Я не пью с ромом, – сказал офицер, узнав по запаху в романее ром.

– Нисколько?

– Нисколько.

Купец взял чашку своего гостя, выпил ее в один глоток и не обжегся, потому что ром охолодил чай, и, не полоскав чашки, налил снова чаю. Офицер поморщился, но его томила жажда и соблазнял аромат хорошего чая. Он налил пить.

– Откудова изволите ехать? – спросил купец.

– Из Петербурга.

– А как вас зовут-с?

– Дутиков.

– А имя и по батюшке?

– Михайло Михайлович.

– Какого чина-с?

Дутикова бросило в пот от чаю, приправленного такими вопросами. При последнем вопросе он взглянул на свои эполеты, и, удостоверясь в сохранности их густоты и в неподвижности блестящих на них звездочек, отвечал с улыбкою:

– Подполковник.

– Так-с. Для прогулки изволите ехать или по службе?

– Конечно, по службе.

– А до сих мест или далее путь ваш простирается?

– Я еду в Кяхту.

– Покорнейше прошу ко мне жаловать.

– А вы из Кяхты?

– Точно так-с.

– Скажите, большой это город?

– Деревушка-с.

– Как?

– Так-с, маленькая, – домов тридцать.

– Только?

– Только-с.

– Но там живут богачи?

Купец пожеманился и отвечал, улыбаясь:

– Так себе – кое-что имеем.

– Скажите, пожалуйста, хорош климат в Кяхте?

– Климат-то хорош, да ведь Сибирь, сударь, у нас немшоная.

– Как это немшоная?

– Да так-с, со всех четырех сторон.

– А, понимаю, – сказал Дутиков, в самом деле ничего не понимая. – Весело там живете? – прибавил он, желая направить разговор на понятные ему предметы.

– Как же-с, очень весело, то есть просто припеваючи.

– Бывают у вас вечера, балы? Вероятно, у вас много хорошеньких? – прибавил Дутиков, принимая тон, который находил приличным для беседы.

– Нет-с, мы не любим балов, а хорошенькими можем похвалиться.

– Скажите же, пожалуйста, кто там особенно хороша?

– А вам на что знать?

– Помилуйте, очень приятно иметь предварительные сведения о городе, в котором доведется, может быть, долго прожить.

– По-моему, так нет никого лучше моей Любавы.

– Что это за Любава?

– Моя жена-с.

– С тем вас и поздравляю, – но я спрашиваю о барышнях.

– Там нет барышень.

– Нет девиц!?

– Есть купецкие дочки.

– Ну, это и нужно. Назовите мне хотя одну, разумеется, лучшую.

– Извольте, вот примерно сказать Явления...

– Какая Явления? – спросил Дутиков.

– Я говорю об Явлении Кузмовне. – Дутиков знал разительные примеры влияния рома и потому вовсе не удивился, что его новый знакомец путает бестолочь. Он даже надеялся услышать какую-нибудь местную легенду, но его навел на прямом путь приказчик, ехавший с купцом.

Молодец этот, как называют в Сибири приказчиков, был представителем своего рода людей из торгового звания. Сначала он был богат, даже хозяином был теперешнего своего хозяина, который прежде служил у него мальчиком. В то время он так же называл ром – романеею, Любовь – Любавою, и т. д.; а главное не считал нужною для торговли «рехметику», но когда заметил, разумеется, очень поздно, что это-то и есть самая необходимая вещь для торговли, когда нечем стало торговать, он принялся читать, сначала арифметику, а потом и другие книги. Не имея уже возможности употреблять романеи, понял, что и употреблял и называл ее в излишестве; жену свою Любаву начал звать Любовью – словом, с очищением карманов, очистился и язык его. Он-то, видя, что Дутиков не понял слов его хозяина, позволил себе вмешаться в разговор, что, конечно, немного удивило Дутикова. Приказчик сказал:

– Хозяин говорит об Евгении Кузьминишне.

– Да, да, вот он вам по-книжному объяснит, он от книг разорился, зато знает все.

– Благодарствую, – сказал Дутиков, – но лучше вы мне назовите цвет ваших девиц.

– Да, да, именно цвет, вот я сам назову Маюкон всех наших девиц, это Марфида Слесарева, перед ней и сама Явления Кузмовна – ничто.

– Марфида?

– То есть, проще сказать, Марфа.

– Марфа, – тихо повторил подполковник, – Слесарева, – прибавил он потом.

– Да-с, прекраснейшее создание, какая веселая, простая!

– Хороша собой?

– Просто милашка.

– Умна?

– Ну уж, не прогневайтесь, в этой статье я не знаток. Читает книги, так, должно быть, умна.

– И – боль-шое – при-даное? – тихо и вкрадчиво спросил Дутиков.

– Сундуки-с напичканы.

– Как это?

– То есть набиты, полнешеньки.

– Деньгами?

– Нет-с приданым.

– Как же это? У нас приданым называются деньги, которые родители дают за невестою.

– А у нас, сердечные, то есть деньги, деньгами и называются, а приданое особо.

– Что же это такое?

– Разные наряды.

– Да, наряды, – сказал подполковник, покачав головою, – а денег много?

– Неизвестно-с.

– Это плохо... однако ж позвольте, я запишу имя... Марфа... Как-с?

– Слесарева.

– Слесарева, – повторил офицер, записывая в своей памятной книжке. – Скажите, она хорошо воспитана?

– Как же, скажу вам, что у нас вообще детей отлично воспитывают, да и всех, кто живет в доме; расходы огромные, у нас же все дорого, особенно рыба – но уж на съестное мы не жалеем.

Дутиков смекнул, что его не поняли, и потому пояснил свой вопрос:

– Я спрашиваю, какое ей дано воспитание?

– Я докладываю вам, что отличное, у нас даже в некоторых домах есть поварихи.

– Помилуйте! Что вы разумеете под словом воспитание?

– Как что? Известное дело.

– Однако же?

– Содержание.

– Э, совсем не то... Обучена ли она, играет ли на каком-либо инструменте, знает ли языки? Вот что я спрашиваю.

– А, вот что! Как же-с, у Александра Степановича училась.

– Кто это Александр Степанович?

– Там у нас учитель Монгольской школы... Да уж будьте уверены, не ударит лицом в грязь, право пондравится. А родители их препочтенные люди: старик-то, правда, чудак, но честнейший, прямой человек, уж как зарубил, так и отсечет, мы еще мальчишками были, а он уж торговал... Да вот увидите сами, Мое почтение-с, кони готовы, кланяйтесь нашим.

– Да – как ваша фамилия?

– Она-с дома... Скажите, пожалуйста, что здоров.

Купец вышел, офицер бросился к почтовой книге, чтобы узнать фамилию своего нового знакомца.

– Это интересно, – сказал он, улыбаясь, – у них свой язык, свои понятия... какая замечательная сторона... будь она только не так обширна, а то невыносимо длинна дорога.

– Куда едет этот купец? – спросил он станционного смотрителя.

– К Макарью?

– К какому Макарью?

– На Макарьевскую ярмарку.

– Да, то есть на Нижегородскую ярмарку...– заметил он про себя: здесь еще сохранилось прежнее название ярмарки, которая была в городе Макарьеве Нижегородской губернии.

– Готовы ли лошади?

– Совсем заложены-с.

– Что?

– Запряжены-с.

II

Михайло Михайлович Дутиков родился, как думают о счастливцах, в сорочке. Он питался молоком здоровой кормилицы, в свое время поступил в учебное заведение, имел добросовестных учителей, поступил на службу, а тут случилась война, на которой он получил легкую контузию и очень рано был украшен штаб-офицерскими эполетами. Война кончилась, Дутиков спешил воспользоваться выгодами мирного времени и получил поручение в Сибирь. В тридцать лет от роду, он принял две непременные цели: или жениться на богачке, или, возвратясь в столицу интересным путешественником, жениться на знатной. В обоих случаях он был уверен, что не испортит своей блестящей карьеры на поприще службы и надеялся быть молодым генералом. Вот истинная причина поездки в Сибирь подполковника Дутикова; предлог же этой поездки нам совершенно неизвестен и для нашей истории совсем лишний.

Пока Дутиков ехал по России, он был доволен своею поездкою, потому что зрелище беспрестанной деятельности, этого утешительного кипения жизни, очень приятно по своему разнообразию;, но когда он въехал в Сибирь, где жизнь, так сказать, слишком растянута по чрезвычайному пространству, чтобы быть заметною, где он ехал целый месяц только от станций до станций, созерцая, лишь неподвижность мрачных гор, ленивое существование немногих обитателей Сибири, ленивое движение стад, а больше всего пустое пространство, показались ему очень тяжелыми, и он несколько обрадовался встрече на станции с молодым купцом, хотя обращение Сибиряка казалось жестоким для утонченных привычек петербургского щеголя.

Для того, чтобы господствующая в Сибири тишина и пустота производили большое впечатление на путешественника, как бы нарочно перед въездом в Сибирь, он проезжает Пермскую губернию и Урал где шумная деятельность железных заводов составляет разительный контраст с тем, что представляет Сибирь, он проезжает Пермскую губернию и Урал, где шумная деятельность сто вспоминал стук молотов и колес. Города и села Сибири, стоящие на отдаленнейшем один от другого расстоянии, с их тишиною и пустотою, особенно в благословенные часы послеобеденного отдыха, когда все, от мала до велика, спят наудалую, казались ему гробницами гигантских размеров. Нельзя сказать, чтобы в Сибири не было деятельности, той же самой, какая есть и в России, но она незаметна в пространстве, так как миллионы звезд не освещают ночи, мрак которой исчезает при появлении одного солнца.

Под тягостным влиянием такой тишины, Дутиков проезжал уже по Забайкалью, через одну деревню, перед рассветом, и услыхал стук почти в каждом доме.

– Наконец, слава Богу, жизнь просыпается, здесь, должно быть, живут мастеровые. – Он с радостью прислушивался к этому стуку, пока проезжал деревню. В другой он услыхал то же самое и уверился, что не во всех местах Сибири господствуют леность и бездействие.

Вот он и в Кяхте. Поздно вечером окончил Дутиков свое отменно длинное путешествие. Чай, табак, ужин и особенно мечты отняли у него большую часть ночи, и путешественник наш заснул уже перед рассветом, но так сладко, как это случается только человеку, которого сон был тревожим в течение двух месяцев; при беспрестанном перенесении его особы за расстояние и семь тысяч верст. Игривое воображение перенесло его в один миг обратно в столицу; подполковник видел себя уже генералом и, конечно, всего более желал, чтобы этот приятный сон не прерывался; – но судьба решила иначе. Вдруг над самым ухом его раздался однообразный стук... Гость Кяхты проснулся, и тотчас ему представились три вопроса: где он? подполковник он, или генерал? и что это за стук? К разрешению этих вопросов не было никаких данных. В темноте он не мог взглянуть в маршрут: – настоящий туалет его был общий всем чинам; – стук же на минуту прекратился: – но лишь только разбуженный начал снова засыпать, как снова раздался несносный будильник.

– Какая досада, – подумал Дутиков, – что тут возле живет кузнец.

Между тем уже рассвет начал озарять небольшую группу деревянных домов, величающуюся городом, на основании пословицы – на безрыбье и рак рыба. Дутиков, однако же, верный своим столичным привычкам, не думал вставать раньше десяти часов утра, а потом в час или два пополудни посетить главные лица города. Взглянув на часы и рассчитав, что может еще проспать три или четыре часа, он готовился повернуться на другой бок, как раздался стук экипажа, который остановился у подъезда.

– Узнай, кто там? – сказал он человеку.

– Здешний городничий, – доложил тот, вошедши таинственно в комнату Дутикова.

– Городничий! Чтобы это значило? – подумал Дутиков.

Но городничий был уже в комнате, и, усердно кланяясь лежавшему в постели Дутикову, поздравлял его с приездом.

– Ах! Извините, – отвечал озадаченный подполковник, поспешно надевая халат.

– Я почел первым долгом...

– И я также почел первым долгом, – перебил его вошедший господин.

– И я честь имею...– прибавил, кланяясь, другой.

– Что за нашествие? – подумал Дутиков.

И точно нашествие! Комната мгновенно наполнилась множеством неизвестных ему лиц. Все они ограничились поклонами и поздравлениями с благополучным приездом, так что Дутиков принужден был обратиться с вопросом, кому он обязан честью такого раннего посещения? Тогда городничий отрекомендовал ему всех присутствующих.

Молодой штаб-офицер улыбнулся, улыбкою совершенно для него новою, потому что еще до сих пор не имел случая быть предметом такого обязательного внимания. Ему вовсе не пришло на мысль, что главная цель посещения было желание взглянуть на него, как на такую редкость, которая, может быть, в первый раз привезена в этот отдаленный городок, и услышать от него последние петербургские новости. Посетители, насмотревшись на гостя, приступили к расспросам.

– Давно ли изволили выехать из Петербурга?

– Ах, очень давно, – отвечал Дутиков, забывший месяц и число своего выезда.

– Изволили дорогой где-либо останавливаться?

– На каждой станции.

Ответ был такого рода, что вопросы прекратились, но червь любопытства не дремал. По некотором молчании, кто-то спросил:

– Что новенького в Петербурге?

Вопрос был самый трудный. Что нового в Петербурге? Да там все ново для Кяхты. Неужели пересказать все новости? Для этого нужны дни, недели, месяцы. Дутиков был в большом затруднении. Отвечать, что ничего нет нового, значит – явно солгать и, может быть, оскорбить гостей; взять на выдержку одну какую-нибудь новость и рассказать ее, можно показаться смешным. Но все ждали ответа, и отмалчиваться было неловко; Дутиков вздохнул и отвечал:

– Ах, господа, я так давно выехал из Петербурга, где новости являются каждый день, что, боюсь, не будут ли мои новости старыми. Да разве здесь не получается газет?

– Коммерческая газета получается.

– Только-то?

– Да других газет, кажется, нет?

– Как так? А «Северная Пчела», «Русский Инвалид»...

– «Пчела» и «Инвалид» также получаются здесь, по из газет мы выписываем только Коммерческую, – отвечали сибиряки, придерживаясь буквально названий этих изданий.

– Ну, – подумал Дутиков, – попал из огня да в полымя, – и, чтобы кончить беседу, он обратился к городничему:

– Сделайте одолжение, – сказал он, – в прошедшую ночь меня очень беспокоил сосед-кузнец; если он не может остановить своих занятий, я попрошу вас отвести мне другую квартиру.

– Непременно-с, – отвечал городничий, – будет исполнено.

– Я с удовольствием заметил, – продолжал Дутиков, – что здешний забайкальский край населен мастеровыми людьми, везде, где проезжал, раздавался стук молотов... Край богат, верно, рудами?

– Точно так-с, – отвечал городничий.

– За всем тем я покорнейше попрошу вас избавить меня от соседства неусыпного кузнеца.

– Непременно-с.

Тут последовало длинное молчание, причиной которого было, как желание Дутикова расстаться с посетителями, так и их желание кончить визит, потому что многие из них не успели напиться чаю до назначенного к представлению часа. Но обе стороны не знали, как достигнуть общего желания. Дутиков почитал себя слишком молодым для того, чтобы откланяться, а гости заключили из этого, что ему приятно смотреть на них. Между тем и самого Дутикова тревожило гораздо большее побуждение, чем желание пить чай... Он хотел остаться наедине с городничим и расспросить его о семействе Слесарева. Видя, что гости не думают уходить, он встал, чтобы пригласить городничего в другую комнату, но с этим движением и все гости попятились назад. Дутиков, поблагодарив их за посещение, попросил городничего остаться.

III

Дутиков, исполнив все условия утонченного туалета, наконец выглянул в переднюю, чтобы позвать своего человека, но нашел там другое лицо; то не был мужик, потому что имел голову и бороду остриженные и на боку саблю, но одежда на нем была чисто мужицкая: нагольный выношенный тулуп и белая замшевая обувь.

– Кто ты такой?

– Шубной, ваше высокоблагородие.

– Да я вижу, что шубной, зачем ты здесь?

– Я вестовой, ваше высокоблагородие.

– Шубной, вестовой, – повторил про себя Дутиков, – всего этого для меня мало. – Он спросил еще:

– Что ты крестьянин, что ли?

– Нет, казак.

– А тебя прислали сюда зачем?

– На вести, ваше высокоблагородие!

– Для посылок, что ли?

– Точно так, ваше высокоблагородие!

– Понял наконец. Так поди и найми мне лучшего извозчика.

– Слушаю, ваше высокоблагородие!

Пока Дутиков записывал вновь услышанные слова, казак отправился в часть города, где живут извозчики, и вскоре стук экипажа раздался у ворот. Был уже самый приличный час визитов. Дутиков, набросив поданную ему шинель и надев шляпу пером, вышел к подъезду.

– Где же извозчик? – спросил он, не видя экипажа, кроме стоявшей тут простой двухколесной телеги.

Казак отвечал, что он нанял эту одноколку.

– Какую одноколку, разве можно мне ехать в телеге?

– Телег здесь нет, ваше высокоблагородие, а вывозку возят на одноколках.

– Какую вывозку?

– Мне приказали нанять извозчика.

– Ну?

– Я и нанял.

– Мне нужен приличный экипаж.

Слово «экипаж», редко употребляется в Сибири, и то только в одном значении, едва ли правильном. Экипажем называют то, что путешественник берет с собой в дорогу. Казак совершенно не понимал Дутикова, и когда тот, догадавшись, что в городе не бывало, верно, извозчиков и что казак принял ломового извозчика, приказал идти к городничему и попросить у него экипажа – казак опять понял его превратно.

Городничий однако же разгадал, в чем дело, приказал казаку доложить, что у него есть только трясучки, но что он уже послал в Кяхту за пролетной.

По той причине, что лошадь казака была отпущена на подножный корм, он исправлял службу пешком, бегая для поспешности рысью, и потому едва дыша доложил подполковнику:

– Ваше высокоблагородие! Экипаж еще не привезен, у городничего трясучка, а он послал на ту плотину за пролеткой.

– Что он тут толкует? – в недоумении и неудовольствии обратись к своему камердинеру, спросил Дутиков, – какой экипаж не привезен, какая трясучка?

– Не знаю-с, – отвечал тот мимоходом, выправляя складку висевшей шинели, – у нас трясучкой называют лихорадку.

– Что болен, что ли, городничий? – спросил Дутиков у казака.

– Нет, здоровы-с, приказали кланяться.

– Болван! – сказал Дутиков и, оторвав лоскут бумаги, написал к городничему записку об экипаже. Городничий почел обязанностью письменно же отвечать господину подполковнику с препровождением дрожек, называемых в Сибири пролеткою, и даже объяснил в письме, что трясучка – значит не лихорадка, а простые не рессорные дрожки.

Таким образом, подполковник Дутиков, вставший рано, навел на поздно и после двенадцати часов отправился в Кяхту к пограничному комиссару, как первому лицу города.

– Впрочем, в самую пору, – подумал он, зевнув неприметно, – даже еще несколько рано, но я между тем осмотрю остатки укреплений, о которых пишет Котляров в статье, помещенной в «Отечественных Записках».

Город Троицкосавск стоит в четырех верстах от Кяхты; все приезжие останавливаются в первом, где при самом почти въезде в город была и квартира Дутикова. Любознательный посетитель имел возможность, мимоездом в Кяхту, где квартирует пограничный комиссар, взглянуть на остатки укреплений бывшей троицкосавской крепости, но сколько он ни бросал взглядов во все стороны, видел только одни наносные кучи песку. Впрочем, если бы господин Котляров не предупредил его принять эти волнообразные груды за остатки укреплений, то, конечно, Дутиков не лишен бы был удовольствия написать о них статью. Истина часто открывается желанием отыскать ошибку другого: поэтому Дутиков имел утешительное право на самодовольную улыбку.

– Так вот какие остатки укреплений! – сказал он про себя и прибавил громко, обращаясь к кучеру:

– К комиссару! А знаешь ты, – спросил он его, – где живет купец Слесарев?

– Знаю.

– Где же?

– На Нижней плотине.

– Жаль, что не в Кяхте, – подумал Дутиков, – а то бы я сделал ему визит под каким-нибудь предлогом.

Однако же по поводу приличия и желания не показать своего невежества он не спросил: где эта Нижняя плотина, на которую унесся мысленно.

– Кто изволит проезжать? – спросил досмотрщик шлагбаума, у которого кучер должен был останавливаться, потому что часовому не было сказано: «Баум высь»!

– Подполковник и кавалер Дутиков, – отвечал сам подполковник,

– Изволите иметь записку от таможни?

– Какую?

– На пропуск в Кяхту.

– Нет.

– Так пропустить нельзя.

– Почему же?

– Не приказано.

– Да я не знал.

– Как угодно-с.

– Как же это сделать?

– Воротиться и послать в таможню за запиской.

– Досадно, – подумал Дутиков, – эти иноплеменные не догадались меня предупредить.

Между тем подъехал к шлагбауму другой экипаж, в котором сидела дама; она приказала остановиться и, махая платком, закричала досмотрщикам:

– Что вы, что вы это! Пропустите! Это подполковник Михайло Михайлович Дутиков.

– Никак не можем, ваше высокоблагородие Наталья Алексеевна, записки не имеется.

– Кто бы это была добрая дама, которая знает меня? – подумал Дутиков, – надо узнать ее фамилию и поехать потом поблагодарить за участие.

– Кто эта дама? – спросил он досмотрщика.

– Эта барыня-с?

– Да, да.

– Наталья Алексеевна Размазиха.

Дутиков знал уже, что надо понимать Размазина, и потому спросил только:

– Где она живет?

– На Верхней плотине.

А вот кстати, там можно быть и у Слесарева, подумал Дутиков и приказал ехать обратно.

– Оно и лучше, – продолжал он думать, я могу сегодня отдохнуть и выспаться; кузнец уж, верно, перебрался.

Весть о приезде нового человека поутру же разнеслась по всем углам многоугольного города Троицкосавска и без пропускной записки проникла в Кяхту. Вот почему Наталья Алексеевна и все дамы обоих городков знали уже чин, имя, отчество и фамилию новоприезжего. По этой же причине экспромтом составилось в городе гулянье, то есть все нашли погоду того дня прекрасною и приказали запрячь лошадей, чтобы ехать кататься. Дутиков встретил довольно большой экипаж, нагруженный прекрасным полом, разных наружностей, какие дают ему лета: здесь был, действительно оправдывавший свой эпитет, прекрасный пол, но был и такой, из которого все прекрасное выветрилось совершенно в течение шестидесяти лет. Когда экипаж поравнялся с Дутиковым, то одно выветрившееся прекрасное приветствовало его низким поклоном и сказало:

– Здравствуйте, Михайло Михайлович!

– Что вы делаете, Александра Васильевна? – возразил ей не выветрившийся еще пол, – Бог знает, что он подумает.

– Что вы, голубушка, честь бесчестья лучше!

А Дутиков, между тем, был вполне озадачен этими двумя встречами, где имя его повторялось как бы лица давно известного, и под впечатлением этой нечаянности он приехал на квартиру, послал за запиской в таможню и прилег уснуть; но дамы, назвавшие его по имени, не дали ему покоя, они беспрестанно вертелись перед его глазами, да и стук кузнеца повторился опять в самую критическую минуту, когда вежды Дутикова готовы был» сомкнуться и скрыть от глаз разрисованный потолок его квартиры.

Как провел Дутиков остаток дня, летописи не упоминают; вероятно, он выкурил несколько трубок табаку, так как сигары еще не были тогда в общем употреблении и славы Василия Жукова еще не подтачивали эти сухие, прямые и безголовые черви, которые ныне совершенно впились в рты мужчин и... о ужас!.. добрались даже до розовых губок дам, до которых прежде касался только, и то на мгновение, один поцелуй. Вероятно, он пил чай, перелистывал свою дорожную тетрадку, назначенную для записки путевых впечатлений, которые, впрочем, гораздо явственнее означались на его боках, чем на листах тетради. День однако же давно кончился, и когда Дутиков взял в руки какой-то не разрезанный журнал или роман, была уже полночь. Он лег с романом в постель и читал с большим вниманием, впрочем, только те страницы, которые раскрывались, и иногда только, завлеченный какою-нибудь прерванною неразрезанным листом мыслью, заглядывал снизу, иногда даже посматривал вокруг себя, ища ножика, чтобы разрезать книгу, но как ножик не попадался, то н продолжал чтение, что называется, через три-третий. Вдруг он вскрикнул, бросил книгу и соскочил с постели, как бы почувствовал, не более, не менее, что его ужалила змея.

– Проклятые! – прошептал он, – эй ты, – закричал он своему человеку, который спал в передней и выводил странные трели.

– Что изволите? – спросил тот, перестав храпеть.

– Поди сюда... Собери эту гадость, – сказал ему Дутиков, указав на мирскую сходку клопов.

Тот собрал кровопийц и не преминул заметить, что они собираются на огонь и, если погасить его, то не покажут носа из щелей. Дутиков поверил и приказал убрать свечу. В урочный, ранний час Дутикова разбудил опять стук молота, и он предал его проклятию, надел халат и в другой комнате прилег на диван, где проспал слишком долго, потому что было уже одиннадцать часов, когда городничий, Бог знает в который раз, приехал к нему и только теперь удостоился чести быть принятым Дутиковым, который встретил его грозною речью:

– Милостивый государь! Я вас просил перевести меня или кузнеца на другую квартиру, вы не исполнили этого вчера, так прошу вас сейчас же заняться этим и пожаловать ко мне вечером, а теперь – мое почтение.

Городничий упал с седьмого неба, у него была приготовлена для подполковника интересная новость, именно та, что ночью было северное сияние и он срисовал его на бумагу пером, чтобы показать гостю... Он боялся, чтобы кто-нибудь другой не сообщил этой новости раньше его, раскрыл уже рот – вдруг должен был улепетывать от него, чтобы еще больше не навлечь на себя гнева.

Приготовясь наскоро, Дутиков в первом часу надел уже шинель, чтобы отправиться к комиссару, как в дверях попался ему посетитель, которого толстая фигура вполне достаточно была для того, чтобы обратить на себя внимание, но Дутиков даже не взглянул на гостя, поспешил сесть на дрожки и приказал ехать к комиссару.

– Ах, опоздал! – сказал толстяк.

– Да, опоздали, – сказал тощий камердинер Дутикова.

– Скажи, пожалуйста, долго твой барин пробудет в нашем городе?

– Кажется, что долго.

– Ну так доложи, что был доктор Ф. Я, впрочем, побываю еще, а теперь пойду к больному.

– Не к городничему ли?

– Нет, а что он разве болен?

– Вчера с ним была лихорадка, но он уже выздоровел и был здесь сегодня несколько раз.

– Впрочем, я и зайду и к нему.

Ровно в час с четвертью экипаж подполковника Дутикова остановился v подъезда пограничного комиссара. Дутиков соскочил и, окинув затворенные двери взором, не найдя ни шнурка, ни ручки колокольчика, тотчас взялся за скобку, чтобы отворить, – но не тут-то было, дверь была заложена из внутри.

Дутиков постучал, ответа не было; он пошел в ворота, чтобы спросить дворника, – дворника не оказалось; он прошел еще далее – ни души, точно заколдованный дом. Увлеченный любопытством, Дутиков попытался отворять все двери, которые ему попадались, – везде было заложено; стучался – ответа не было. Наконец он вышел, убежденный в какой-нибудь необычайности, случившейся в этом доме, и уже обдумывал, как приступить к открытию этого происшествия. На улице попадается ему казак, идущий в этот дом.

– Что в этом доме? – спросил озабоченно Дутиков.

– Спят, – равнодушно отвечал казак.

– Только-то?

– Только.

– Когда же проснутся?

– В семь часов.

– Ого! – заметил Дутиков, – Скажи, что был подполковник Дутиков.

– Слушаюсь.

– Знаешь ты, кучер, Нижнюю плотину?

– Это она и есть.

– Где же плотина?

– Здесь.

– Как здесь! Тут нигде не видно плотины. Да знаешь ли ты, что такое плотина?

– А это и есть плотина.

– Ведь это Кяхта.

– И Кяхта, и Плотина все то же.

– А... тут по поводу этих двух названий, – думал про себя Дутиков, – верно, есть какое-нибудь предание... узнаем; но открытия надо делать по порядку... Знаешь ты дом Размазиной?

– Это на Верхней плотине.

– Где же Верхняя плотина?

– Там, в Троицкой.

– Где же Троицкая? – нетерпеливо сказал Дутиков.

– Да где вы изволили остановиться.

– Еще новое название, – подумал Дутиков. – Ну, – сказал он, – где живет Слесарев?

– Здесь.

– Ступай к нему.

Экипаж остановился у ветхого деревянного дома, вросшего в землю; почерневшей от времени крутой крыше его блестели набитые на щели новые планки; стекла окон позеленели и во многих местах были составные.

– Как, – спросил пораженный Дутиков, – неужели это дом купца Слесарева?

– Он здесь живет, – ответил сметливый кучер, – но это дом компанейский.

– Ба, – подумал наблюдатель, – в первый раз увижу человека, который не хочет жить в хорошем доме на счет компании.

Войдя в дом, он нашел в нем изысканную чистоту, – но стены блестели не французскими обоями, а превосходно вымытым деревом; в гостиной, куда ввели гостя, он нашел вместо дивана четыре древних кресла, поставленных вместе, с полудюжину стульев, небольшое зеркало – и прекрасную шитую картину недавней работы.

Здесь житель Петербурга был счастливее, по крайней мере, на первый раз он застал Слесарева не спящим и, благодаря блеску своих эполет, произвел на челе хозяина совершенное сияние удовольствия при встрече нечаянного гостя.

Дутиков объяснил, что встретившийся ему молодой купец рекомендовал его. как доброго и радушного домохозяина, и он почел за удовольствие изъявить ему свое уважение и проч.

Слесарев не замедлил привести в исполнение вымышленную рекомендацию и распорядился подать чаю.

– Чай в два часа! – подумал Дутиков, – впрочем, – прибавил он также мысленно, но без восклицания, – впрочем, подают же в это время у нас кофе.

Разговор, начавшийся приветствиями, продолжался расспросами с обеих сторон, самыми неутомимыми. Гостю любопытно было слышать о Китае, столь близком, что стрит только протянуть руку и рвать листки чая с самого дерева; а хозяин, по обычаю страны, хотел узнать от гостя все сведения о Петербурге. Но вскоре гость, управлявший рулем разговора, обратил его, как было нужно, и спросил;

– Давно вы торгуете на Кяхте?

– Да вот уже около пятидесяти лет.

– Пятьдесят лет! О, вы должны иметь огромное состояние.

– Слава Богу – я доволен, получая от компании по три тысячи рублей в год и не издерживая их, я в этот длинный срок успел кое-что скопить.

– Но вы могли иметь свои дела?

– Я, свои дела? Тогда бы я не прослужил и пяти лет. Если вы любопытствуете знать меня и мои правила, скажу вам, что я человек простой, русский мужик, знаю только один русский язык и вот эту грамоту твердо. – Он указал на счеты, давно известную русским машинку счетоводства. – Во весь свой долгий век, – продолжал Слесарев, – я держался правил строгой честности – и не раскаиваюсь; при мне разбогатели и разорились многие, и тому и другому было причиною отсутствие строгой честности и строгого счетоводства. Прямая дорога везде – самая ближайшая, а в торговле она еще и необходимейшая. Доверие компании, уважение китайцев – вот мои аттестаты. Мне 70 лет – и ими обязан я единственно спокойствию моей совести.

Не то хотел знать Дутиков, хотя после этого рассказа и почувствовал настолько уважения к старцу, что нашел его достойным быть его отцом. Однако же он ввернул еще вопрос.

– Дела вашей компании так обширны и так цветущи, что, вероятно, каждый год дивиденд увеличивается, но, я думаю, вас усчитывали по примеру прежних лет.

– Я каждый год представляю до десяти тысяч прибылей сверх сметы.

– Порядочно, – подумал Дутиков, – но, вероятно, не все остатки он представлял, – подумал он, в утешение себе.

– Делами я занимаюсь сам, – продолжал Слесарев. – Купец, видите ли, по моему понятию, не барин: ему оброку не принесут; и притом я видел многих – чуть наживет тысяч сто, сейчас в бархатный халат, ермолку на голову, в вольтеровское кресло с сигарой – а по делам все приказчики... Глядишь, года через три, сотня обратилась в десяток. Первый мой отдых от дел – это в храме Божьем; а потом за книгой в семейном кругу, иногда и у добрых приятелей; но дело всегда на уме.

– Правила ваши прекрасны, – сказал гость. – Я очень рад, что случай свел меня познакомиться с вами: в вашей опытности можно многое почерпнуть.

– Если захотите торговать, я вас научу этому делу.

– Очень вам благодарен… может быть, со временем... и очень может быть...

Дутиков, между тем, выпил поданную чашку чаю без сливок и сухарей, а он без этих приложений никогда не пил чаю, но как он почувствовал жажду, эта чашка – куда не шла! Он однако же с особенным вниманием положил чайную ложечку в чашку и был уверен, что больше не будет пить; а вышло не так.

Дверь отворилась, и из нее вышла хозяйка. Не успел гость сказать несколько приличных случаю приветствий, как ему снова поднесли чаю. Он, конечно, нашелся бы отказаться, но M-me Слесарева так убедительно его просила, да и нельзя же отказать в просьбе той, которую, может быть, придется просить самому, и о предмете более важном. Выпита другая чашка чаю, Дутиков поблагодарил решительно и громко и переложил ложечку с блюдечка в чашку.

– Не угодно ли еще?

– Покорнейше благодарю.

Это «покорнейше благодарю» в простодушной Сибири принимается в настоящем смысле, т. е. как благодарность за предложение, а не как отказ от предложения. Г-жа Слесарева точно так и приняла его и, растворив немного дверь, сказала шепотом, но так, что острый слух гостя слышал ясно:

«Марфинька! Налей еще чаю, да выйди сюда сыграть что-нибудь на фертопьянах».

Слово «Марфинька» потрясло все фибры Дутикова.

– Я увижу ее наконец, – подумал он, – нечего делать, надо будет выпить третью чашку чаю, налитую ее ручкою... ручкою, – прибавил он, поправляясь в выражении, которое счел неприличным даже в своих мыслях... – но, Боже мой, что со мною будет! я и то уже весь в поту.

Расспросы между тем истощились и ослабли; гость не желал знать того, что глубоко изучил опытный хозяин; а сам он не мог развить разговора, потому что его спрашивали не о певицах и певцах, не о танцорах и танцовщицах и даже не о театрах и цирках.

Наступило грозное молчание. К счастью, – думал Дутиков, – что это не перед бурею, которой обыкновенно предшествует тишина... нет, это перед появлением Марфиньки, которой нежный голосок послышался в соседней комнате в разговоре с вошедшим по заднему крыльцу мужчиною.

– А, здравствуйте, Осин Митрич! – приветливо и, кажется, нарочно громко сказала молоденькая хозяйка.

– Чай с сахаром! – отвечал гость.

Эта фраза, совершенно новая для приезжего, подала ему повод сказать хозяину:

– Я заметил в здешнем разговоре много особенных, против русского, выражений, которые часто не понимаю; вот, например, там, кажется, в виде приветствия сказано: чай с сахаром?

– Это то же самое, – ответил хозяин, – что и везде в России, по-старинному, впрочем, обычаю, когда придет гость во время обеда, то говорит: хлеб да соль!

– Да, – подумал Дутиков, – это переложение русского обычая на китайско-сибирский.

А голос Марфиньки между тем звучал в соседней комнате, и Дутиков слушал, как слушают соловья.

– Кушайте-ка чайку, Осип Митрич!

Это значило, по местному обычаю, что стакан уже налит, без предварительного спроса: угодно ли чаю?

– Да уж былое дело, – ответил Осип Дмитриевич, – сейчас только у Миколая Матвеича с затуранчиком баршигончику попил; ну да уж куда не шло еще стаканчик.

– Да садитесь, Осип Митрич.

– Сиденья довольно, все сидел.

– Да вот с помогайчиками милости просим.

Дутиков не решился однако же спросить разрешения этих новых терминов, да мы, любопытствующим знать значение их, укажем на Областной словарь, прибавив только, что в Сибири в большом употреблении слова в уменьшительном виде и так часто услышите такие разговоры:

– Мое почтеньице!

– А здоровеньки ли?

– Ну, как делишечки?

– Плетутся по малесеньку.

– Ну, а должишечко-то?

– Не могу сколотить деньжонок.

– Да хоть рублевиков сотенку.

– Деньков пяток подожди, и т. д.

Услажденный звуками голоска соседней комнаты и занятый подслушанными сибиряцизмами, гость Кяхты и Слесарева совершенно потерял нить разговора и сидел в безмолвной задумчивости, надеясь дождаться выхода Марфиньки.

Хозяин жил возле народа, у которого молчание не составляет мрачной тени картины общества, народа, который десятками столетий убедился, что молчание – лучшее и единственное средство, когда не о чем говорить; гость забыл, что разговор без мысли – способность попугаев и что куры на насестах ведут беспрерывную болтовню. По этим данным можно было, наверное, ожидать, что молчание прервет гость; так и случилось. Он обратился к хозяйке, подсев к ней с ловкостью светского человека, с вопросом:

– Вы здесь живете постоянно?

– Что такое-с?

– Я уверен, что вы живете здесь непостоянно? Вы...

Вместо ответа хозяйка бросила на него удивленный взгляд, лицо ее покрылось румянцем стыдливости, и она, вставши, ушла в свою комнату, захлопнула так дверь, что не осталось никакой надежды, чтобы она вновь отворилась для пропуска прекрасной Марфиньки. Дутиков терялся в недоумении. Хозяин слышал ли вопрос, заметил ли неудовольствие своей половины, или случайно сделал гостю предложение, после которого не было никакой надобности оступиться у него в гостях. Он сказал, вставая со своего стула:

– Если вам угодно видеть никанцев в Маймачене, то я завтра к вашим услугам.

И он поклонился. Дутиков также поклонился. Хотя он в первый раз в жизни слышал о никанцах, однако ж догадался, что это должны быть китайцы, и не ошибся.

– Что я сказал ей такое, – спрашивал себя пораженный Дутиков, – чем она могла оскорбиться? – и, умея дать себе в этом отчета, приказал ехать к Размазиной.

IV

Свежий воздух – лучший живописец из всех древних и новых живописцев. Никто не умеет придать увядшему лицу пожилой женщины свежести и цвету близкого к юности, как свежий воздух. Особенно быстрая езда в открытом экипаже есть бойкая кисть этого живописца. Это один из результатов задачи об успехах железных дорог, где вы всегда встретите дам, с пристрастием рассматривающих окрестности, которыми они тысячу раз любовались и в которых любопытного нет ровно ничего; а если и есть, то невозможно рассмотреть, при такой быстрой езде. Этот-то хитрый живописец жестоко обманул Дутикова: он видел Наталью Алексеевну одно мгновение и в открытом экипаже, но это мгновение с участием, которое она приняла в нем, нарисовали в воображении его красавицу, который он и спешил засвидетельствовать свое почтение и благодарность.

Г-жа Размазина родилась почти в один день с настоящим столетием и когда этот теперешний муж мудрости в детстве своем шалил с своим избранным любимцем, Наталья Алексеевна не отставала от него в шалостях, а в выборе любимцев превзошла его во сто раз. Век остепенился, принялся за науки, изобретения, выдумал запрягать пар вместо лошадей, на предметы стал смотреть в миллион раз увеличивающее стекло; истребителю человечества и дичи – пороху сотворил еще помощницу; заменил человеческие руки машинами и сделал его легким до способности бесконечно прыгать, создал для него польку, и, – одним словом – ушел вперед. Но Наталья Алексеевна осталась – Натальей Алексеевной. Время уже безжалостно отбило лепестки этой розы, лишив их и цвету, и запаху, и свежести, но роза держится еще на стебле, хотя и готова при малейшем дуновении отпасть... Такую розу нашел Дутиков, мечтая встретить благовонный цветок.

– Я почел при... приятною обязанностью, – сказал он, заикнувшись, – изъявить вам свое почтение и поблагодарить за участие, которое вы вчера удостоили принять во мне.

– Милости просим садиться, – отвечала Наталья Алексеевна, полуприседая и полукланяясь. Эдакие чудаки, ведь они вас не пропустили вчерась.

– Это ничего, это их обязанность... Но скажите пожалуйста, как вы узнали меня, мое имя и прочее?

– Помилуйте, вы у нас такой заметный гость, солнце на нашем горизонте, вас тотчас стоуздая молва прославила по нашему городу.

– Стоустая, маменька, – поправила дочка, вошедшая в гостиную и сделавшая чистый, т. е. без примеси поклона, реверанс.

– Это ваша дочь? – спросил Дутиков, наконец вздохнувши глубоко и отрадно.

– Да, – сказала неохотно и тихо маменька, с явным намерением сказать так, чтобы не расслышал гость. Однако же злодей расслышал, маменька поняла это по инстинкту и прибавила наивно и жеманно:

– Я дитею выдана была замуж: недавно еще издан закон, чтобы меньше шестнадцати лет не выдавать девиц... Вот она (она кивнула на дочь) ждет теперь этого срока.

Гость, разумеется, распространился в комплиментах на эту тему, и разговор завязался как нельзя счастливее. Увядшая, но опытная красота тотчас пошла в атаку на привлекательную молодость Дутикова, с явным намерением преградить путь по принятому им направлению к дочке. Было четыре часа. Юному воину легко опрокинуть старую тактику любезностей, ужимок, намеков красавицы по воспоминании; но у дам в известном возрасте, разумеется, всегда хороших хозяек, есть решительное и верное средство победы: они употребляют его в самую решительную минуту, когда противная сторона всего менее чувствует в себе силы к обороне.

Подполковник Дутиков грациозно поднялся, взял шляпу начал раскланиваться.

– Сделайте одолжение, откушайте с нами, – сказала хозяйка. Вот это последнее победоносное средство – это обед. Выполосканный чаем желудок Дутикова тотчас перешел на сторону неприятельницы, рука, которая, как известно из какой-то басни, всегда действует заодно с желудком, положила шляпу, и язык, которого Дутиков хотел заставить отказаться, – прилип к гортани. Дутиков поклонился в знак согласия и подсел к дочери.

– Скажите, пожалуйста, – спросил он, – как это вы, живя так далеко от столицы, можете так близко следить за модою, беспрестанно изменяющеюся?

– Мы шьем платья по телеграфам, – сказала с уверенностью барышня.

Дутиков задумался: он знал, что по телеграфам не сообщают известий о модах и что с Сибирью вовсе нет телеграфического сообщения; но в то же время видел, в глазах собеседницы, такое чистое выражение истины, что никак не смел подумать об обмане. Его недоумение, если его сравнить величиной с горстью пороха, увеличилось в объеме дыма, который бы произвела эта горсть, если ее поджечь, когда М-me Размазина спросила его:

– А, вы верно, привезли с собой телеграфов?

– Телеграфов? – воскликнул он... – да, да! Вы, может быть, спрашиваете о журнале, который издавался Полевым, он уже давно прекратил это издание.

– О каком Полевом, – прервала Мария (M-le Размазина называлась Марией), – о каком Полевом, – повторила она с удивлением, – уж не о Петре ли Ивановиче говорите вы?

Петр Иванович Полевой был, а может быть, и теперь есть, самый безызвестный в мире человек, но в Кяхте, как постоянный ее житель, он пользовался большею известностью, чем славный его однофамилец.

– О Николае Алексеевиче, – отвечал Дутиков, – вы не читали его... его... его сочинений?

– Нет-с; а разве хорошенькие у него романчики есть?

– И романы, и повести, и истории, и драмы – все хорошо.

– Ах! надомно достать почитать, попрошу Ивана Ивановича.

– Как это Иван Иванович?

– Один наш знакомый, он также сочиняет стишки, вы не читали еще?

– Нет, я еще не имел удовольствия познакомиться здесь ни с одним сочинителем.

– Иван Иванович, – заметила маменька из другой комнаты протяжно, – добрый, бедный, простой… да только теперь ему недосуг отыскать для тебя книжки; он теперь с утра до вечера у Веры Петровны, забыл уж нас совсем... влюбился по уши, – прибавила маменька одним тоном ниже.

Дутиков, конечно, не ожидал такого раннего посвящения в тайны города, в который только что приехал.

– Ну, маменька, – возразила Мария, – вить он дохтур, а она шибко занемогла, так надомно же и попользовать.

– Положение доктора у постели прекрасной больной самое критическое, – заметил Дутиков общим местом, чтоб дать развиться разговору.

Мария захохотала.

– Что вы это говорите, – спросила она, – о каком положении доктора у постели больной? Ай, ай, как это вы не успели приехать, а уж все узнали... Мамаша! Кто-то уж рассказал Михайлу Михайловичу.

– Земля слухом полнится, – прервала мать, – иди-ка Маша сюда, помоги мне.

Дутиков оставлен был один: перед ним даже не извинились.

Какая простота, заметил он в утешение себе, а сколько загадочных слов и намеков... Добьюсь же я, что это значит... надо однако же записать эти сибиряцизмы.

И он, вынув тетрадку, записал: телеграф, романчики, стишки, ну, вить, шибко, занемогла. Это будет сибирский словарь.

Собрались другие гости: по всему видно было, что обед званый, церемонный; оттого он, против обычая страны, был такой поздний. Пригласили к столу, и Дутиков, как ни желал сесть возле Марии, очутился возле хозяйки.

С первого разу он заметил виды прекрасной хозяйки, прекрасной только в хозяйственном отношении, что свидетельствовал длинный аттестат, установленный яствами и бутылками. Гости, в числе их и Дутиков, исключительно занялись наполнением желудков, как корабли, отправляющиеся в море, наполняются водою.

«Что город, то норов», – подумал он и налил рюмку вина, чтобы запить только что съеденный кусок окорока с горчицей. Он хлебнул вина и тотчас спросил:

– Что это такое?

– Это облепиха.

– Облепиха?

– Наливка на ягоде облепихе, – дополнил кто-то из гостей, видя недоумение Дутикова.

– Прекрасное вино, – заметил Дутиков, – допивая рюмку, – только очень сладко.

– На леденце, – заметила хозяйка.

– Это что же такое?

– Известно, что леденец, – отвечала хозяйка.

– Китайский сахар, – дополнил тот же гость-истолкователь.

– Облепиха, леденец, – прошептал несколько раз Дутиков, чтобы не забыть эти слова, назначенные им для сборника.

Хозяйка, между тем, каждое блюдо приправляла просьбою кушать и даже часто сама прикладывала на тарелку гостя, увеличивая взятую им порцию вдвое и втрое.

Такое внимание Дутиков толковал иначе, чем оно в самом деле было, а это было чистое сибирское угощение, и его должно уважать, им должно дорожить, потому что это единственный оставшийся образчик русского гостеприимства, перешедшего и предание, – гостеприимства без всякой цели, кроме желания угостить.

После обеда Дутиков холодно раскланялся и вышел.

Едучи домой, он обдумывал план своих дальнейших действий. Дорога его лежала через площадь: по сыпучему песку, на котором стоит город Троицкосавск, едва тащила экипаж его не очень сильная пара лошадей; вдруг он увидел бегущего через площадь толстого человека, за которым гнались два хромых инвалида; плащ убегающего развевался по воздуху, инвалиды уже начали отставать, но один из них, более хромой, сделал необыкновенный прыжок, успел вцепиться за плащ и упал, повисши на нем. Толстяк, по-видимому, человек очень сильный, тащил его несколько сажень, потом отстегнувши крючки плаща, оставил его в руках преследователя, а сам скрылся в переулок.

– Кто это бежал? – спросил Дутиков у кучера.

В небольших городах кучера знают не только всех жителей, но и всех собак.

– Это доктор Ф., – отвечал кучер.

– Что с ним за история случилось?

– Верно, кого-нибудь уморил.

Экипаж проехал, и это загадочное происшествие выехало из памяти Дутикова, в которой теснились другие воспоминания.

На квартире человек доложил ему, что был доктор Ф.

– Доктор Ф? Давно?

– Поутру, а вот к вам записка.

Дутиков сорвал облатку, и удивленным глазам его представилось женское писание, тут и там обрызганное каплями слез или воды, распознать было нельзя.

Дутиков читал, едва разбирая:

«Милостивый государь Михайло Михайлович, извините, что «я к вам пишу», но это необходимо, чтобы уверить вас, что вам вероятно, на нас и на маменьку уже что-либо наговорили, что вы сказали так маменьке, что это все неправда.

Марфа Слесарева».

– Боже мой! – воскликнул Дутиков, – что это за галиматья, что я сказал этой женщине? – право не помню – и дочка решилась писать! Однако же должно быть преинтересное существо, поеду завтра, извинюсь собственно для того, чтобы видеть Марфиньку.

– Ну, что, убрался кузнец? – спросил он слугу.

– Приходили спрашивать, где кузнец, – тут никакого не оказалось.

– Что ты врешь? А кто же это чем свет стучит?

– Не знаю-с.

– Ступай же и узнай хорошенько.

V

Чтобы рассмотреть морскую воду, надо зачерпнуть ее в стакан или взять каплю, т. е. отделить совершенно часть от целого и потом уже рассматривать, в тени, на солнце, весить, мерить, пробовать на вкус, наводить на нее микроскоп; одним словом, изучать предмет, как вам угодно, по не опустить из виду ни одного атома взятого вами целого. Точно так и в океане житейском, чтобы рассмотреть каплю его, человека, – надо его, подобно морской капле, отделить совершенно от моря; но так как для этого нужен довольно большой стакан, остается одно средство – рассматривать эти капли, когда они отделяются в провинцию. О, там человек виден насквозь, и виден всегда. В столицах вы его замечаете тогда только, когда он какою-нибудь услужливою волною выносится па поверхность, да и тогда он, мгновенно пронесенный мимо вас, теряется во множестве.

Никто, впрочем, из столичных жителей не жалеет об этой безызвестности, напротив, всякой считает свое положение весьма выгодным. «Здесь, – говорят столичные жители, – никто не обращает никакого внимания, на мой образ жизни, на мои привычки, на мои занятия». И напротив, случайно заброшенные в провинцию, вздыхая о столице, проклинают свою жизнь, говоря: «Здесь каждый шаг на виду, что ни сделаешь, что ни скажешь, с кем ни познакомишься, – все это известно в городе, па все обращают внимание... это просто невыносимо».

Задача легко разрешается числом жителей столицы и провинции, и не стоило бы о ней говорить, если бы она не служила вернейшим мерилом нравственного состояния человека. Надеемся, что этих строк достаточно для объяснения причины, которая заставила автора повести начать ее в самой отдаленной провинции. Попросив в этом извинения у читателя, внимание которого обращено на такую глушь и далее, приступаем к описанию событий третьего дня пребывания героя нашей повести в Троицкосавске.

День уже начинал рассветать, а Дутиков еще не ложился. Вчера, отправляясь из квартиры, он в справедливом попечении господина о слуге, придумал своему Дормидону занятие, чтобы тот не скучал и не портился от праздности: приказал ему разрезать книгу, и тот в течение дня разрезал се почти до половины. Дутиков уже дочитывал, лежа в постели, разрезанные листы и давно дочитал бы их, если бы его не отвлекло частое снимание со свечи, – это был еще век сальных свеч, тот век, в который доктор Горрисон назвал сумасшедшим человека, мечтавшего обратить сало в воск!

Сначала Дутиков досадовал, что Дормидон не разрезал всей книги, я потом был доволен этим, потому что имел достаточную причину остановиться и заснуть.

Лишь только он математически устроился для вкушения покоя, как известный уже стук раздался с прежнею силою и несносностью. Дутиков послал тысячу проклятий стуку и городничему, который был у него вчера вечером и уверил, что возле его квартиры нет никакого кузнеца.

Может быть, читатель упрекнет повествователя за то, что он пропустил это посещение городничего, тем более, что тот хотел сообщить подполковнику какую-то важную новость. Для устранения этого упрека должно сказать, что городничий имел принятое раз навсегда правило: носить к приезжим важным лицам по одной новости и день.

– Уличу же я тебя, – сказал Дутиков так злобно, как подобало человеку, расположившемуся спать и принужденному снова бодрствовать. Разбудив Дормидона и казака, он отправился, ведомым звуками предполагаемого молота кузнеца.

Звук этого привел их к соседней избушке; казак отворил дверь и посторонился, чтобы дать пройти Дормидону. Дормидон но своей обязанности принял направление к воротнику шинели барина: таким образом, Дутиков очутился впереди отряда, лицом к лицу изумленной старухи, которая только что подняла огромный деревянный пест с железным концом, которым что-то толкла в чугунной ступе.

– Что ты делаешь, старая ведьма?

– Чай толку, ваше благородие!

– Ваше высокоблагородие, – поправил старуху Дормидон.

– Как чай толчешь?

– Вот как.

И старуха, успокоенная видом людей, которых приняла сперва за полицейских или таможенных чиновников, начала крепко бить пестом в ступе.

– Стой! – скомандовал Дутиков, – покажи твой чай.

Старуха вынула из ступы и подала кирпичного чаю, который старалась разбить в ступе.

– Разве это чай?

– Чай, ваше благородье – высокое!

– Для чего же ты его толчешь?

– Для того, чтобы сварить.

– И ты толчешь каждое утро?

– Утром, днем и вечером; у нас, батюшка, это главная пища,

– Ты ведь здешний, – спросил Дутиков казака, – чай ли это?

– Точно чай, ваше высокоблагородие, только, кажется, слепой.

– Как слепой? – спросил изумленный Дутиков.

– Шойда, – отвечали утвердительно.

Дутиков махнул рукой, видя, что опять попал в лабиринт сибиряцизмов.

– Что ты, собака, – закричала старуха на казака, – откуда мне взять слепого-то чаю? Да я его и сроду-то не пивала: я ведь слава Богу ношу крест на вороту... Онамеднясь у свата Выжиги я до зимнего Миколы, с обожданьем взяла хромой чай: три клейма на нем было.

– Вот, старуха, и напрасно божишься, – сказал казак, – на целом-то кирпиче бывает только два клейма, а на хромом-то, т. е. на трех четвертях кирпича, может быть только одно клеймо, а ты уж и три закатила... Признайся лучше, что слепой был?

– Тише! – скомандовал опять предводитель ночного набега на старуху, начинавший догадываться в чем дело, – нам нет надобности, с таможенным клеймом или без клейма был чай, а вот, старуха, ты мне не даешь спать своим несносным стуком.

– Что вы, батюшка, ведь я ночью-то не стучу, а утром.

– У тебя утро, а у меня ночь... на вот тебе на чай! только стучи где-нибудь подальше от моей квартиры. Марш!

– Глупость какая! – думал Дутиков, идучи на квартиру. – Да не этот ли стук в здешнем крае я принял за стук кузниц и написал об этом статью, которая, верно, уже напечатана?.. Ну кто бы мог подумать, что тут толкут чай? И этот чудак, городничий, подтвердил мое замечание. Вот и собирай сведения на месте.

Однако же, сколько ни беспокоила Дутикова ошибка, в которую он впал нечаянно, он вскоре уснул сном всех литераторов, сладким и продолжительным сном.

Дутиков проснулся поздно, что узнал он не по солнцу, которое было закрыто тучами, а по часам, пробившим двенадцать.

Первым звуком, который он произнес, было: «Ах!»

Первым словом: «Проспал!»

Вторым звуком: «Эй!»

Вторым словом: «Дормидон!»

– Был кто-нибудь?

– От купца Слесарева присылали за вами экипаж.

– Присылали? Что ж это значит?

– Не знаю-с.

– А знаешь ли ты, что мы будем сегодня есть?

– Вас просили кушать к г-же Размазиной.

– Не поеду, – вскрикнул Дутиков с таким выражением в голосе чего-то необыкновенного, что Дормидон спросил барина:

– Почему же, сударь?

– Разве не видишь, какая погода?.. впрочем, что за объяснения, и к чему ты спросил?

– Писарь от Размазина приходил... приказал доложить, что будут ждать.

– Как? Писарь?

– Точно так: он служит под начальством г. Размазина. – Размазина и послала его с приглашением.

– Кто же тебе это рассказал?

– Он сам.

– Хорошо. Есть здесь трактир?

– Трактиров нет уже от самой Казани.

– Как? Где же ты брал кушанье в городах?

– Присылали добрые люди.

– А деньги?

– Денег-с они не брали, – отвечал Дормидон застенчиво.

– Здесь не смей этого делать; заведи свою кухню, пошли купить теленка я прочее, что нужно.

– Сегодня уже не успеть приготовить обеда.

– Правда... Сегодня приготовь что-нибудь закусить.

Разговоры такого рода, как известно, ведутся во время завтрака и одеванья. Кончивши все это, Дутиков не мог, по принятому обычаю, удержать при себе собеседника, и тот вышел.

Дутиков был из тех многочисленных людей, которые никак не могут оставаться без какого-нибудь развлечения; занятий он еще не имел; читал всегда только на сон грядущий; гулять нельзя было по причине дурной погоды. Дутиков походил по комнате, пропел какую-то арию, побарабанил по стеклу, посмотрел на улицу, где не было ни одной души.

– Трубку! – закричал он.

Что он думал или ничего не думал – неизвестно; но около трех часов Дутиков все еще зевал и потягивался, выкурив несколько трубок.

Наконец настала пора обеда. Надо было чем-нибудь распорядиться. Он кликнул казака, присланного к нему для посылок, и спросил:

– Можно ли достать что-нибудь на рынке из съестного?

– На толкучке нынче я видел только несколько возов с яблоками.

– С яблоками, – вскрикнул Дутиков, – что ж, и прекрасно! Можно испечь, сделать компот и т.д. Главное, что я вовсе не предполагал здесь яблоков. Вот деньги, иди и купи, да скорее.

Рынок, как и все в маленьком городе, был недалеко; казак вскоре возвратился. – Дутиков увидел его в окно; за ним шел крестьянин и нес на плече полный мешок.

– Купил?

– Купил-с мешок.

– Как мешок, мешок яблок?

– Точно так, заплатил полтину медью.

– Неси, неси сюда, посмотрим, полакомимся, давно не видал я яблоков.

Внесли в комнату мешок, развязали его, и изумленному Дутикову предстал, совершенно неожиданно, во всем грязном виде картофель.

– Это картофель!?

– Да-с... мы по-простому называем яблоками.

В это время герой наш получил письмо следующего содержания, по известном титуле.

«Вы Русский, и я тоже: вот мое право обратиться к вам в положении самом критическом, я не могу описать его, могу только рассказать и потому имею честь надеяться, что вы меня посетите. Я был у вас вчера и не застал, сегодня я не могу выйти со двора».

– По обычном заключении подписано – Ф.

IV

На всем прекрасном континенте, называемом Сибирью, есть только одно место, самое не прекрасное, это именно – место нахождения города Троицкосавска и его предместий, Кяхты. Окруженное голыми песчаными горами, оно ничто иное как песчаная насыпь, по которой едва струятся два ручейка; один из них носит название Кяхты, а другой, по шерсти, Грязнухи, тогда как по обе стороны этого места текут две прекрасные реки – Чикой и Селенга, с обширными, лежащими по берегам их равнинами; также не далеки несколько меньшие реки Джида и Киран. Но дело в том, что все эти реки вытекают с китайской стороны, и будто бы основатель торгового города с Китайцами, зная хитрость этого народа, боялся, что они в немирное время могут отравлять воду, текущую от них, и потому выбрал речку, текущую к ним. Справедливо ли это предание – не знаю; верно только то, что по всей китайской границе Кяхта единственная речка, текущая из России в Монголию, а все прочие текут из Монголии в Россию или граничат между ними, все-таки вливая свои воды в последнюю.

После обеда, к которому рассчитанно ждали Дутикова, как это можно было предположить по подогретым блюдам и улыбкам хозяйки, герой наш, чувствовавший себя как-то не в духе, не в своей тарелке, вскоре раскланялся и вышел, чтобы навестить «почтеннейшего» доктора.

Он спросил у первого встречного:

– Любезный, где живет доктор Ф?

– Что вы сударь, – отвечал встречный, – шутить изволите – не знаете квартиры доктора, вот она.

И он недоверчиво указал на довольно новенький, но недовольно отделанный домик.

Дутиков постучался в калитку, за неимением звонка.

– Никого нет дома, – отвечал ему охрипший голос, явно обнаруживавший расстройство инструмента, который произносил слова.

Дутиков пошел прочь, не зная, что подумать о докторе, приславшем к нему приглашение.

– Ради Бога, полковник, – раздался над ним усиленный шепот, – извините, пожалуйста!

И Дутиков увидал над собой висевшую из окна фигуру доктора, с которой отчасти был знаком.

– Здравствуйте, – сказал полковник. Но ответа не было.

Фигура доктора, видимо, наливалась кровью и делала страшные усилия, чтобы некоторую часть свою ввалить обратно во внутренность окна.

Дутиков понял, в чем дело: он бросился к калитке и начал сильно стучать.

– Говорят, что никого дома нет, – отвечал ему тот же расстроенный инструмент.

– Отоприте, отоприте, – кричал Дутиков, – ваш хозяин падает из окна.

– Как же, – шептал инструмент про себя, – хозяин сидит за печкой. Нет никого! – закричал он громко.

Фигура доктора между тем боролась в напрасных усилиях сделать перевес на сторону ног, бывший на стороне головы по случаю неосторожного движения доктора к ожидаемому гостю, и только благодаря силе рук, ухватившихся за подоконник, держалась еще на воздухе, готовая слететь на улицу.

– Скажите ваше имя, – пропищал тонкий голос из-за доктора.

Дутиков сказался.

И, впущенный, стремглав бросился в мезонин. Изо всей огромной фигуры доктора он увидел только одни его ноги, на которых лежала упавшая ничком тощая женская фигура.

Как ни опасно, и в тоже время как ни смешно было положение Ф., Дутиков однако же спокойно принялся за дело и вскоре успел освободить доктора.

Когда же все было приведено в порядок, Ф., усадил своего гостя, изъявляя ему искреннюю благодарность за посещение и за спасение, сказал торжественно:

– Полковник! Вы спасли жизнь мою, – спасите мою честь!

– Что такое, – спросил с участием Дутиков, – угрожает вашей чести? Расскажите, пожалуйста, и будьте уверены, что я приму всегда справедливую сторону всякого...

– Всякого, – перебил иронически Ф. – Да, вы правы, оставив так безрассудно в молодые годы столицу, я добровольно втиснул себя в толпу и заслуживаю быть всяким.

– Помилуйте! – возразил Дутиков, – я вовсе не желал вас обидеть и извините, если выразился неприятно для вас, но согласитесь, что мы в первый раз видимся и почти знаем друг друга.

– Нет, полковник, не в первый, – во второй раз мы видимся, но вы не обратили на меня внимания, когда я поставил себе за честь явиться к вам. Да, я тотчас понял, какое расстояние разделяет нас: вас – петербургского жителя и меня – жителя Кяхты!

– Разделяло, – возразил Дутиков, желая дать шуточное направление разговору, – разделяло почти семь тысяч верст, но теперь я возле вас и подаю вам руку: извините, тогда я торопился.

– Не шутите, полковник! – сказал Ф. грустно, – Тем ли бы я был теперь, если бы жил в столице, продолжал учиться, поддерживал бы связи и, может быть, не был бы...

– Ручаюсь вам за одно, – перебил гость, все старавшийся шутить, – ручаюсь, что вы не были бы так здоровы, как теперь.

– Так толст, хотите вы сказать... Поверьте, что эта толстота болезненна: это преобладание тела над душой; это следствие годов, проведенных в праздности, в бездействии, в отчаянии... Что сделаешь в этой глуши, какой полет дашь душе... Кто поймет голос ее здесь, в этой пустыне?.. Да, «я умер бы здесь, чтобы там воскреснуть!»

– Утешьтесь, доктор, я понимаю ваше отчаяние, ваше положение, но есть, воля, которая выше нашей воли; никто не может в жизни располагать собой.

– Нет, я располагал собой: я добровольно изгнал себя, я был разочарован, я слишком рано начал чувствовать горе жизни, я думал, что, удалившись от предметов, терзавших мою душу, успокоюсь, забуду их. Наконец я удалился, погреб себя заживо и обрек на вечное страдание.

– Зачем же было жертвовать собой без пользы?

– Без пользы? Нет с пользою: я остался верен своим правилам, я не показал другим, что может сделать человек с твердою волею – может удалиться и не отвечать перед потомством за потворство бездарности.

– Позвольте, доктор, эти общие места должны же относиться к какому-нибудь одному классу... неужели вы находили нашу медицину в таком упадке?

– Нет, полковник, я должен бы был предупредить вас сначала, что я медик по званию только – по душе я поэт, и представьте мое положение, когда душа моя издает небесные звуки, на бумаге я должен писать рецепты!

– Кто же принуждает вас оставаться в звании, к которому вы не чувствуете признания?

– Сначала обязанность: я должен был прослужить шесть лет за мое воспитание, потом, может быть, привычка или то, что в эти шесть лет я отстал от времени.

– Вот видите ли, что и нельзя располагать собой.

– Но я мог бы еще остаться в заведении или остаться в Петербурге, если бы не некоторые огорчения... несправедливость... непризнание во мне дарования…

– Надо было прибегнуть к терпению.

– Терпение – не моя добродетель.

– Но что прошло, того не возвратить... Вы были полезны отечеству на своем поприще – не всякому и это дается.

– Я был полезен? Напротив, я вовсе не хотел заниматься этою противною «латинскою кухнею» – и не раскаиваюсь.

– Вы создали что-нибудь, доктор? Приятно слышать, если удостоюсь вашей доверенности.

– Ах, полковник, этого-то внимания и жаждет душа поэта... Но прежде я буду просить вас о защите моей «угнетенной невинности»... Я уже дал вам понятие о жажде, томящей меня в этой пустыне, о жажде сочувствия к прекрасному, к изящному, которого я не встречал здесь ни разу и которого тем более требовала моя поэтическая душа... и вдруг, представьте себе мою радость, вдруг посреди здешних скучных дам является юное, пылкое существо с полным сознанием всего изящного, с полною к нему любовью, – и, увы, сочетанная с самым прозаическим существом. Она томилась одинаковою со мною жаждою... Скажите, могли ли мы чего-нибудь опасаться, предаваясь общим поэтическим стремлениям, без всякой тени укоризны?.. Но порочная душа супруга нашла возможность придраться к нашему поведению и дать волю самой бешеной ревности.

– Он застал вас на коленях перед своею женою? – лукаво заметил Дутиков.

– О, вы уже знаете эту историю? В нашем городе не нужно газет... на коленях? О, если бы даже это была и правда, разве предосудительно преклоняться перед прекрасным?

– Совсем нет, но не ловко быть преследуемым из-за прекрасного и потерять плащ.

– И эту выдумку вам сообщили!

– Это я сам видел.

– Ну, вот, судите же, какая исступленная ревность! Представьте, до чего она может дойти: ведь он может мне повредить в общем мнении.

– Чем же я могу быть вам полезным?

– О, об одном умоляю вас: покажите мне расположение.

– Очень рад.

– Может быть, я и не стою этой чести.

– Помилуйте!

– Да, я фат, Сибиряк, толстяк, медик – все против меня; но узнайте меня ближе, и я надеюсь, что вы что-нибудь откроете в этом сибирском руднике.

– Уж один ваш вкус – чистое золото; я уже слышал много лестного о Вере Петровне.

– Кланяюсь!.. Итак, одно ваше близкое знакомство может спасти меня от преследования: удостойте меня им.

– Повторяю, что очень рад, и тем более, что вы в свою очередь можете оказать мне еще большую услугу.

– Говорите, говорите! Готов на все.

– На первый раз я попрошу вас объяснить мне, чем оскорбилась одна дама, которую я только спросил: «уверен, что вы живете в этой дали не постоянно, что...» Я хотел прибавить, что она ездит в Россию, на Нижегородскую ярмарку, – но она соскочила с места и ушла, хлопнувши дверью.

– Виноваты всему сибирицизмы, как я их называю. Здесь многие русские слова имеют другое значение.

– Я сам заметил это, даже встретил совершенно новые слова, и попрошу вас объяснить мне их.

– Начнем с вашего вопроса. Под выражением жить непостоянно что вы разумеете?

– Не безвыездно, временно: как же иначе это растолковать?

– По-сибирски, это значит изменять супружескому долгу.

– В самом деле! Ха-ха, ха! Но мадам Слесарева, которой я это сказал, должна бы понимать, что она уже старуха.

– Так вы были у Слесаревых?

– Да, был. Мне хотелось видеть блестящую звезду нашего горизонта, но увы, неожиданная туча помешала исполниться моему пламенному желанию.

– Что, вас интересует эта особа? Вы, вероятно, говорите о Марфиньке?

– Очень интересует. Говорят, что она хороша собой, богата... правда ли это?

– Она не дурна, и притом пребойкая... Что касается до богатства, то сундуки здешних богачей имеют совершенно тот же характер, как здешние горы: Бог знает, что в них сокрыто. Здесь нет русского обычая выговаривать приданое; что дадут, тем и должно довольствоваться; но надеюсь, вы не хотите на ней жениться?

– Говоря откровенно, почему же нет, если дадут хорошее приданое?

– Не советую... повторяю, что наперед не объявить, что дадут.

– Но если они богаты, можно положиться на совесть... как вы думаете?

– Одно советую, не торопитесь – время может все раскрыть.

– Знаете, что? Надо поехать к ним, благо есть предлог: извиниться, объяснить недоумение. Это будет первым приступом, а там посмотрим.

– Прекрасно! Не угодно ли, я ваш спутник. Мне же очень полезно показаться с вами в обществе.

– Поедемте через полчаса; будет в самую пору; между тем, доктор, хотя вы не любите своей медицины, а я начну говорить о ней.

– Вы хотите меня пытать?

– Не пугайтесь, один вопрос, скажите, пожалуйста, неужели нет средства против общей в здешнем крае, как я заметил, болезни женщин конвульсий в челюстях.

– Конвульсий в челюстях? Я этого не заметил.

– Что вы? Разве вы очень близоруки? Мне вообще нравится тип здешней женщины, это смесь монгольской, породы с финскою – но лишь я начну всматриваться в хорошенькую, как и увижу, что у ней беспрестанно дергает челюсти; я об этом сделал много заметок в своих записках.

– Это, может быть, влияние вашего взора?

– Нет, кроме шуток, это серьезный факт. Вы, летаете своею фантазиею всегда в поднебесье и не видите, что делается на земле, а вот вам случай представился: изучите эту болезнь, отыщите против нее средство – вы новый Дженер, Ганеман и проч.

– В самом деле, полковник, я слышу от вас об этом впервые,

– Уверяю вас, что я в этом не сомневаюсь; правда, я не расспрашивал ни разу, но видал тысячу раз. Да вот, перейдемте в нижний этаж и будем смотреть в окно – как раз пройдет женщина, у которой дергает челюсти.

И собеседники поместились у окна.

– Что это за процессия? – спросил Дутиков, увидав длинный ряд едущих телег с поставленными на них деревянными клетками, в которых заключались свиньи.

– Это свиньи, которых возили на продажу китайцам.

– Большой же им почет здесь; точно в каретах едут, и как чинно сидят. Редкий поезд, в первый раз вижу.

И он расхохотался.

– О, эти картины, – грустно заметил Ф., – мне надоели.

– Смотрите, смотрите, – закричал Дутиков, – вот идет женщина с конвульсиями.

– Она что-то ест?

– Как ест? У ней в руках ведро. Чем же она кладет в рот пищу? Подзовем ее.

Женщина подошла. Дутиков изумился: челюсти ее стали неподвижны.

– Ты здорова, милая? – спросил он.

– Здорова. Совершенно здорова.

– И тут у тебя ничего не болит? – Спросив это, он взял ее за подбородок.

– Нет.

– Нет этакого невольного движения, как бы дерганья?

– Нет.

– Странно. Ступай, милая.

Женщина только что пошла, как челюсти ее пришли в движение.

– Стой, стой! – закричал Дутиков.

Но баба, заключив, что тут что-нибудь не просто, прибавила шагу и ушла. Между тем доктор хохотал до обмороку.

– Что с вами?

– Понял, понял! – кричал тот, не могши удержаться от смеху.

– Что понял?

– Понял ваши конвульсии.

– Что же такое?

– Это здешнее обыкновение жевать беспрестанно лиственничную топленую смолу, или, как называется здесь, серу.

– Зачем же они ее жуют?

– Это привычка; притом утоляет жажду, очищает зубы; а щелканье серы на зубах – забава.

– Это стоит толченья чаю, – шептал про себя с досадою Дутиков, – опять надо вычеркнуть из записок... я даже писал об этом в Петербург.

– Но поедем! – сказал он громко.

VII

Женщина, как уже тысячу раз сказано, – цветок. Как он был выращен, в тени ли, или на свете, тщательно ли за ним ухаживали, или часто его забывали, – все это имеет влияние на развитие и красоту цветка... но поговорим лучше об этом милом предмете без сравнений, положительнее. У нас женщины получают три главных, по своему резкому различию, направления. Одно воспитанницы учебных заведений, особенно учрежденных правительством, вносят в наш общественный быт – это религиозные, ясные и твердые понятия, любовь к порядку, к правильной жизни, к занятиям, и особенно к занятиям полезным, к числу которых должно отнести важную статью – разумное, т. е. с полным знанием дела, внимание к детям и попечение о них. Другие, которые воспитываются дома, по началам, не приведенным в систематическую ясность, но избранным но влечению каждого родительского сердца, вносят в общество, из прекрасного, главное – любовь к семейной жизни, к домашним увеселениям и практическое знание хозяйственной части, сколько необходимой, столько же и прекрасной части, которой не отдают должной важности потому только, что редко кому случается испытывать ее отсутствие, и это служит ясным и неопровержимым доказательством правильности развития и направления домашнего воспитания. В этом случае хозяйственную часть можно сравнить с часами: мы все так привыкли к этому полезному и хитрому применению механизма – к разделению и определению времени, что считаем его вещью самою обыкновенною; но кому случилось, по какому-нибудь несчастью, хоть бы, например, карточному, остаться без часов, тот только вполне ценит эту необходимую в жизни вещичку. Отличительную и милую черту домашнего состояния составляет также скромность, основанная на неуверенности, следствии недостатка средств этого воспитания или часто родительской беспечности, недостатка собственного образования... Третий разряд, самый неутешительный, – это отсутствие всякого воспитания. В отношении понятий, условий общежития, приличий и даже успехов в обществе, женщинами при этом воспитании руководит один только инстинкт и большая наглядность, потому что они с раннего возраста вступают в общество, и никакая завеса не скрывает от них всех его тайн.

К последнему разряду принадлежала Марфинька Слесарева. Она не была красавицею, но в ней была видна чистая порода: правильные черты, рост более чем средний, развитие форм, свободные движении придавали ей особенную прелесть, разумеется, озаренную самою яркою, утреннею молодостью. Кроме того, она одарена была природным умом и бойким даром слова, принявшим резкое выражение от необходимости защищаться и отражать нападения, – но у ней было доброе, любящее сердце. Китайцы, которые здесь с Русскими составляют одно общество и по торговым делам от скуки ежегодно между собою сталкиваются, говорили о ней на употребляемом или ломаном русском языке: «языка у ней шило; а сердце меда!»

Дутиков, после нескольких свиданий с Марфинькой, по контрасту ли ее с мадам Размазиной, или по редкости подобной встречи, нашел ее вполне прекрасною, восхищался ею: ее наружностью, умом, и особенной наивностью, и любознательностью, которой едва мог удовлетворять, отвечая на расспросы о Петербурге, России, Европе, европеизме и т. и. Даже часто затруднялся в ответах, потому стал в доме Слесарева беспрестанным гостем, с которым уже не церемонились. Однажды Марфинька повела разговор прямо на женитьбу. Она спросила:

– Когда вы женитесь?

– Как только буду иметь счастье понравиться той, которую уже избрало мое сердце.

– А, у вас есть суженая?

– Посреди таких прелестей, какие нашел я здесь, трудно сохранить свою свободу... но кто согласится оставить родину, родных и уехать со мною Бог весть куда?

– Отчего же? Найдутся охотницы.

– Вы думаете?

– Даже уверена... Ваша будущая жена, – прибавила Марфинька, заметив, что зашла немного далеко, – ваша жена будет называться госпожа Дутичиха, как-то не ловко выговорить?

– Отчего ж не Дутикова?

– Ах, в самом деле... но ведь у нас называют Петушиха, Наквасиха, Игумниха?

– Это ваше местное наречие; оно неправильно – по-русски должно называть: Петухова и т.д. – Я также заметил, что здесь некоторые мужские фамилии, вместо единственного числа, произносят во множественном, например: Островских, вместо Островский, Сизых, вместо Сизый, и т.п.

– Да, вот вы приехали нас просмехать.

– Не просмехать, или не насмехаться я не охотник: а это встретилось в разговоре, и притом, если позволите, мне очень приятно показать вам наши некоторые отступления от русского языка. Может быть, вы поедете в Россию, и вас там иначе будут понимать...

– Благодарю вас, я очень этому рада, – сказала Марфинька, но, желая навести разговор все-таки на интересовавшую ее женитьбу Дутикова, она вдруг спросила:

– Скажите, подполковник, если вы женитесь – жена ваша будет подполковница?

Не отвечая прямо, Дутиков отделался шуткою.

– Она будет, – сказал он, – моею полковою командиршею. Дай Бог, чтобы это был, что называется, отец-командир, милый и добрый начальник.

– А я думаю, приятно было бы получить такой полк! – перебила Марфинька, вперив прямо свои прекрасные взоры в стоящий перед нею полк, который вздрогнул от этого взгляда.

– Вы думаете? – заметил вкрадчиво Дутиков, – Что ж, вам стоит захотеть.

– Взаболь? – вскрикнула Марфинька, на своем сибирском языке, но, останавливаемая уже несколько раз своим милым учителем, она поспешила выразиться яснее.

– В самом деле? – повторила она: – Так я хочу, непременно хочу!

Шаг сделан решительный. Мы, разумеется, не привели длинных, предшествовавших этой сцене обстоятельств, которые уже достаточно сблизили героя и героиню нашего рассказа. За всем тем однако же Дутиков не был приготовлен к такой положительной развязке, тем более, что он ничего не узнал насчет главного вопроса – приданого и потому постарался отретироваться общими местами и шутками.

Назавтра он спокойно сидел в своей квартире, рассматривая некоторые китайские вещицы, которые успел уже приобрести в Кяхте, как поспешно вошел к нему доктор Ф.

– Я спешил вас поздравить, полковник!.. Итак, вы решились?

– С чем? На что?

– Вчера вы сделали предложение Марфиньке Слесаревой, и она его принимает.

– Как, полноте! Я шутил.

– Как шутили? Она серьезно передала родителям ваши слова, и по этому случаю был уже семейный совет.

– Полноте!

– Уверяю вас. Ожидайте депутации, которая явится благодарить вас за сделанную честь.

– Быть не может!

– Непременно; решено – предложение наше принять.

– Браво! Ну что ж, и прекрасно! А решено сколько дать приданого? Я не беру меньше миллиона.

– Я уже вам говорил, что здесь о приданом не рядятся.

– А я тотчас предложу этот вопрос депутации, если она явится.

Действительно, явились вскоре старик Слесарев с братом и еще одним родственником.

Они, по старому обычаю, помолились Богу, потом обратились к хозяину с речью, вероятно, заранее приготовленною.

– Ваше высокоблагородие! – начал старик.

Полковник перебил его:

– Пожалуйста, садитесь, почтеннейший!

– Ваше...

– Сделайте милость, без титулов, ну, как ваше здоровье?

– Слава Богу, вашими молитвами, но позвольте; ваше...

– Очень рад, здоровы ли ваша супруга? Дочка?

– Позвольте, позвольте, – возразил старик настойчиво...

– Сделайте одолжение, – отчаянно перебил Дутиков... – Не прикажете ли чаю...

Но усилия его замять речь Слесарева истощились, и тот начал громко:

– Вы удостоили наше семейство неожиданной чести...

– Какой-с? – холодно спросил Дутиков, и старика ошеломил этот вопрос.

– Вы удостоили наше семейство, – снова начал он уже не твердо, заикаясь.

– Я не имел счастья ничем особенно вас удостаивать, но, если вы намерены говорить о моем некотором объяснении, которое было между мною и вашей дочерью, я очень рад, если это заслуживает вашего одобрения, только, милостивый государь, я должен прежде всего вам доложить, что мы живем в веке самом положительном.

– В каком-с, позвольте спросить, я, может, не расслышал.

– Положительном, т. е. каждое начинание должно прежде объяснить, чтобы не было после никаких недоразумений... Например, извините мою откровенность, я желаю знать, сколько вы дадите приданного за дочерью?

– Милостивый государь, – отвечал гордо старик, – дочь моя не товар, и торговаться об ней не намерен, у нас этакого и заведения нет; мы даем детям своим все, что можем, но наперед об этом не говорим. Итак, извините, если бы я знал это прежде, я бы вас не беспокоил. Прощайте!

– Позвольте, позвольте! – закричал Дутиков, который, как уже мы имели случаи заметить, принадлежал к многочисленной породе людей, не умеющих выдерживать...– Позвольте, вам должно знать, что я человек небогатый, следовательно, дочь ваша, чтобы не нуждаться даже в необходимом, должна же что-нибудь получить от вас.

– Она получит все, что ей следует, но повторяю, что это не торговля...

– Я также не торгуюсь, но желал бы знать, чтобы потом не раскаиваться.

– Чтобы не раскаиваться потом, лучше отказаться теперь... напрасно только вы начинали.

– Я не отказываюсь от своих слов, но согласитесь, что разъяснение необходимо.

– Но как я ничего не могу вам разъяснить, так имею честь откланяться.

– Позвольте, еще два слова, может быть, я могу положиться вполне на вашу любовь к своей дочери, на ваше великодушие, которому, при ваших средствах, вы можете вполне предаться...

– Я не враг своему детищу, если дочь моя пришла вам по сердцу, и, если это состоится, мы вас не оставим, будьте благонадежны.

– Если так, если вы даете мне слово, что будете помогать нам, я скажу вам откровенно, что мне ваша дочь очень нравится и я почел бы себя очень счастливым...

Доктор, сидевший все время спокойно, сделал в эту минуту движение, Дутиков продолжал:

– Я почту себя вполне счастливым, если вы изъявите свое согласие...

Доктор еще более задвигался.

– ... свое согласие на наш брак.

– На это, конечно, есть воля Божия, – заметил смиренно старик Слесарев, – я совершенно согласен на этот брак.

Вследствие такой, несколько неожиданной развязки полились вместе с поданным шампанским взаимные поздравления, обниманья и целованья.

Подполковник Дутиков и старик Слесарев с компанией расстались нареченными родственниками и друзьями.

Оставшись наедине с доктором, Дутиков спросил его:

– Ну что, как вы об этом думаете?

– Сказать вам откровенно?

– Ну да,

– По моему мнению, вы очень поспешили дать свое согласие.

– Как мое согласие? Я должен был получить его согласие.

– Он уже давно согласился; вам следовало бы настаивать на одном, на определении приданного.

– Но он обещал сделать все, что может, он обещал помогать нам.

– Он и будет посылать вам по ящику чаю к праздникам.

– Как так?

– Да так... Вот я, например, лечу целый год в доме, всех от мала до велика, – и что ж, ящик чаю к Рождеству, другой к Пасхе – и все тут.

– Но это другое дело.

– О, поверьте, все равно; они так высоко ценят свои ящики, что еще не к всякому празднику и посылают.

– Впрочем, дело нельзя сказать, чтобы совсем было кончено; я еще переговорю с ним хорошенько.

– Не увлекайтесь только; держитесь крепче главной цели.

– Да, но заметили вы, что он при первом возражении готов был отказать?

– Это уловка.

– А если откажет?

– Не большая потеря.

– Как? Вы думаете; разве вы ничего не находите привлекательного в Марфиньке?

– Особенного ничего.

– У всякого свой вкус: по-моему, это прелестное создание.

– И без приданого?

– Ну. оно было бы не лишним – уж теперь такой век. А нет ли здесь свахи, которой бы можно было поручить эти переговоры.

– Нет, здесь им нечего делать, потому что повторяю, никто не рядится о приданом.

– О. здесь, верно, еще невесты сами по себе имеют значение.

– Да, как во всякой стране, где больше мужчин, чем женщин.

Оставшись один, Дутиков задумался, потом сказал сам себе:

– Да, это не так легко, как я полагал. Приданое нужно доставать, имевши свой запас, точно так, как золото добывается золотом, или чтобы выиграть значительный куш в карты, надо иметь столько, чтобы против него поставить. К тому же надо иметь железное сердце, не таять от пламенных взглядов, не сдаваться на сладкие речи... А я? Я почти влюблен в эту милую дикарку и, если не решусь жениться на ней без приданого, то только по убеждению обстоятельств и требованию времени... Не имей я ничего в будущем, не будь мне только тридцать лет, я давно сдался бы этому изменнику.

Он ударил себя при этом по сердцу, и оно еще шибче забилось и заныло.

– Неугомонное, – сказал Дутиков, – просится на Нижнюю плотину.

И, послушный этому баловню, он поехал на Нижнюю плотину к Слесаревым.

Посещать их стало его потребностью, которой он жертвовал даже некоторыми своими занятиями.

Общество в доме Слесаревых составляли несколько молодых дам и девиц, подруг Марфиньки; мы назовем из первых только Анфею Степановну, истую сибирячку, потому что Дутиков много обязан ей обогащением своего сибирского словаря.

Молодой и веселый Петербуржец удивлял своих собеседниц рассказами большею частью комическими, про свои встречи во время путешествия, про Александрийский театр, про нашего комика – Мартынова. И раз, когда Дутиков, одушевясь воспоминаниями, рассказал, как Мартынов играл мнимую Фанни Эльспер, и даже представил некоторые более разительные положения, все общество хохотало до слез.

– Ох, – воскликнула Анфея Степановна, – будь ты недаров, все болонюшки надорвала – до того хохотала, уж какое же у вас там есть зубоскалы.

– Да ведь на это нужен особенный талант, почтеннейшая Анфея Степановна, и упражнение: вот, может быть, и вы, если бы занялись, могли бы прекрасно сыграть какую-нибудь роль? А что, в самом деле, не составить ли нам к Рождеству благородный спектакль.

– Нет уж не тротортесь, Мнхайло Михайлович, не подъезжайте с этим, куда нам, вы же нас и подымите на смешки.

– Помилуйте, мы этим только доставим удовольствие себе и обществу... или составим живые картины?

– Оборони Бог, нет уж нет, ни за что не соглашусь никакие личины надевать.

– Да ведь это не маскарад, – заметила одна из собеседниц, – а это благородный театр, на котором сыграть какую-нибудь комедию...

– Мушкарат или кометь, – перебила Анфея Степановна, – мне все равно; я помню, как здесь был театер-то, да на нем ни одна девушка не играла, и уж как Осип Кожевников, бывало, нарядится в женское платье, да набелится, да нарумянится, да тоненьким голоском начнет говорить, так вить истованиая девка, или Спиридон Корякин какого-то Филатку разыгрывал – ну умора, никак не утерпишь, так и покатишься со смеху; а Петр Дурыгин разыгрывал какого-то молодого, парня, да куры строил Параше, так назывался Осип-то, ну вот так точно взаболь и подлиняете, да возьмете будь он Пронька, да как поцелует Осипа-то, а тот и глазки потупит, как будто девка и есть. Ах, они прокураты этакие, теперь вспомнить не могу без смеха, а тогда все безутешно хохотали, и господа так и хлопают в ладоши.

Иногда это общество ходило гулять по сыпучему песку Кяхты, по улицам китайского городка Маймаченя, по окрестным холмам, к ключику или источнику, находящемуся в версте от Кяхты, где есть небольшой сад, беседки и скамейки.

Идучи куда-либо, Анфея Степановна брала с собой своих дочерей, из которых одна особенно отличалась детскою резвостью, прыгала, бегала, мешалась в группу гуляющих, почему маменька часто ей кричала;

– Опря! Иди передом! – Или: Опря! Иди путем!

По этой команде Евпраксия, так звали девицу, шла и тихо, и чинно.

Из чего Дутиков понял значение слов «путем» и «передом», но нашел нужным спросить одну из своих спутниц: почему Анфея Степановна называет дочь свою Опря?

На это ему отвечено:

– Потому что она мала еще: а когда вырастет, тогда будут называть: Опросинья Тишишна.

– А как зовут ее папеньку?

– Тит Поромоиыч.

– Так не лучше ли называть Евпраксия Титовна?

– А уж пора нам и воротится домой, – заметила Анфея Степановна, – уж пристала я слоняться-то.

– Ну, полноте, Анфея Степановна, рано еще, погуляемте.

В это время раздался благовест к вечерне.

– Ой, нет, нет, – закричала Анфея Степановна, крестясь, – уж звоняют к вечерням, а мне еще надомно опару изладить, да завтре мягких испечь, пораньше, хотим еще съездить по губы, вить мой муженек-то страх как любит губницу... прощайте, чицаньки, до повиданья, голубушки, – сказала она спутницам и пошла домой.

– Да позвольте, Анфея Степановна, проводить вас, – сказал Дутиков.

– Нет, нет, не протортесь, Михайло Михайлыч, сама дойду.

– Положим, что вы сами дойдете, в этом я не сомневаюсь, за всем тем лучше проводить вас.

– Уж какой вы наянливый, не можно от вас отвязаться: проваливайте с Богом, вам дорога, а мне другая.

– Как вам угодно. Мое почтенье!

– И мое почтеньице-с, до повиданья. К нам милости просим!

– Ваши гости! – отвечал Дутиков, уже привыкший к местному обычаю непременно говорить при расставаньи: «к нам милости просим»! – и отвечать: «ваши гости!» Однако же и на этот раз он сделал приобретение по части изучения местного наречия: Анфея Степановна обратилась к Слесаревой с такою речью:

– Прощайте, Огрофена Степановна! За угощенье покорно благодарим.

– Не взыщите, Анфея Степановна, на предки милости просим.

– Ваши гости, уж напрокучили, поди, вам.

– Что вы это, не в частом бываны вить.

Во время этого расставанья проходил мимо нашей гуляющей группы статный молодой человек, который вежливо поклонился дамам.

– А вот мне и спопутчик, – сказала Анфея Степановна.

– Разве он к вам идет? – спросил Дутиков, желавший продлить интересовавший его разговор с Анфеей Степановной.

– Да, он у нас стоит.

– Как это у вас стоит? – спросил Дутиков и, не получив объяснения, прибавил:

– А, а, понимаю он у вас живет...

– Да, он уж третий год кортомит у нас квартеру.

С этими словами Анфея Степановна удалилась.

VIII

Не будем описывать разных уловок и хитростей, которые употребляли Дутиков для того, чтобы получить Марфиньку с хорошим приданным, и Марфинька для того, чтобы как бы то ни было принадлежать Дутикову, – скажем только, что они оба на парусах юности, лавируя разными манерами, шли в одну гавань – гавань супружества, – и прибыли благополучно. Но, как известно каждому плавателю в огромном житейском море, корабль, рисующийся на его волнах, то выплывая на девятый вал, то падая к его основанию, со своими надутыми парусами, кажется, гораздо красивее, чем в тесной гавани, стоя бок о бок со своим товарищем. Это, конечно, потому, что в гавани можно его рассмотреть во всех подробностях и, пожалуй, заметить все повреждения, какие он получил, толкаясь о подводные камни, которых всего более в житейском море...

Герой нашей повести, прежде чем опустил «мертвый якорь» на дно «тихого пристанища», поближе и пристальнее вник в дело и понял, что надежды его на огромное приданое очень обманчивы; а потому решился скорее поднять паруса и выйти обратно в море.

Оказалось, что это не так легко сделать.

Но надо и то сказать, что сначала герой наш произвел сильное впечатление; а потом к нему до того привыкли; что начали требовать отчета в его поступках.

Когда он сделал прощальный визит семейству Слесаревых, вслед за ним вошли туда приходский священник и несколько почетных граждан – и Дутиков принужден был при них подтвердить свое предложение, выслушать подтверждение данного уже согласия, – и от совершения бракосочетания он отказался только уверением, что без позволения своего начальства не может вступить в брак, но что для скорейшего достижения этого блаженного дня он едет испросить дозволение и возвратится с ним на крыльях нетерпения, любви и прочая. В заключение он спросил нареченную невесту принять от него на память золотой якорь, символ верности и надежды, на котором был вырезан день их помолвки 1-го апреля 18\*\* года.

Восторженная Марфинька приняла подарок, целовала его и была совершенно уверена в том, что жених непременно через год приедет на ней жениться.

– О, гораздо раньше, – возразил он, – я буду ехать день и ночь, нигде не остановлюсь, в Петербурге займусь только одним, – испрошением дозволения и пущусь в обратный путь еще скорее, еще скорее...

– Ах Боже мой, я буду ждать вас безутешно, считать месяцы, недели, дни, часы, наконец, минуты и секунды.

– И я приеду гораздо раньше, чем вы разочтете.

Последовали обычные сцены расставания, проводин, пожеланий, слез и проч., с прибавлением остановки на таможенной заставе, где при разборе чемодана отъезжающего выпало несколько записок и черновых писем, которые непременно попали в руки кому-то из провожавших.

Случалось ли вам давимым во сне «соседком», как верит этому наш простолюдин, т. е. чувствовать себя под величайшею тяжестью вследствие прилива к голове крови, потом проснуться и, выйдя на свежий воздух, почувствовать себя необыкновенно легко? Это последнее удовольствие Дутиков постоянно испытывал на первой, второй и третьей станции от Кяхты, освободившись от тягостного бремени, которое добровольно наложил было на себя, увлекшись желанием помучить приданое.

– Боже мой! – думал он, – как легко в жизни сбиться с настоящего пути. Между мной и Марфинькой Слесаревой ничего нет общего: ни род, ни воспитание, ни понятия! Как бы я ее показал в Петербурге?

На четвертой станции он думал то же самое за самоваром: вдруг раздался звон колокольчика, и подъехал тарантас.

– Здравствуйте! – вскрикнул звучный голосок.

– Боже мой! Как это?

– Так! Тятенька и маменька сжалились надо мной и отпустили меня ехать с вами в Петербург.

Это говорила бросившаяся в объятия Дутикова Марфинька Слесарева.

– А я взялся проводить ее и сдать вам на руки живу и здорову, – прибавил мужчина, с которым Марфинька догнала беглеца.

В самом же деле рассмотренные записки Дутикова, выроненные из его чемодана, решили поездку Марфиньки за ее нареченным женихом, который доверил коварной бумаге свои сокровенные мысли.

– Но, мой ангел, – возразил ошеломленный беглец, – ведь я еду вокруг Байкала, а ты знаешь, каковы тут дороги: надо ехать верхом через крутые горы, каковы Хамар-Дабан, например. Не было примера, чтобы провожала тут хотя одна женщина.

– Я проеду первая.

– Невозможно, я этого не допущу.

– Увидим! У меня своя подорожная, прогоны в кармане. Я только ваша спутница. Горазне хуже, если я поеду одна, а я беспременно поеду.

Спорить было бесполезно. Дутиков надеялся, что трудность пути заставит отважную путешественницу воротиться, и согласился ехать вместе.

По мере удаления от Кяхты, ровная дорога начинает морщиться, как чело человека, начинающего гневаться, или – верите – как ровная поверхность моря при начинающемся ветре; далее морщины обращаются в холмы, наконец в горы и горищи, если можно так выразиться, смотря на десять верст подмятых перпендикулярно перед вашим носом. Верховая тропинка вьется змеею по этой громаде.

– Посмотрите, сударыня, как вы подниметесь на эту высоту?

– Так же, как и вы.

– Но я поеду верхом.

– И я верхом.

– Но у вас нет дамского седла.

– Я поеду так же, как и вы.

– Но вы не так одеты, как я, – с улыбкою заметил Дутиков.

– Так дайте мне ваше платье.

Дутиков не выдержал и захохотал; Марфинька тоже засмеялась; она приласкалась к своему рыцарю, и ему показалось приятнее ехать вдвоем, чем одному. Он поделился кое-какими принадлежностями своего туалета с милой своей спутницей, лошадей оседлали и подали. Дутиков сам поднял и посадил свою спутницу на мужское седло, вскочил на свою лошадь и поезд двинулся гуськом на подъем, который Русские прозвали осмеркою, названием простонародной кадрили, в которой танцующие делают такие же крутые повороты и зигзаги, какие здесь нужно делать, чтобы подняться на крутизну.

– Зачем вы назад едете? – спросила Марфинька своего спутника, когда тот начал проезжать мимо ее второе колено тропинки, проложенное совершенно параллельно первому, по которому ехала Марфинька.

Если б можно было взглянуть на поезд со стороны – действительно показалось бы, что одни едут вперед, а другие назад и беспрестанно встречаются друг с другом. Это настоящая фигура прежних танцев, называемая шен.

Чем выше поднимались путники, тем становилось холоднее; наконец они достигли вечных снегов и вершины горы, которая господствует над окружающими ее горами, как колокольня Иван Великий над прочими зданиями Москвы. Вся поверхность, покрытая горами, простирается на несколько сот верст и представляется глазам путешественника взволнованным и окаменевшим океаном. Горы здесь действительно имеют вид и направление морских волн, между которыми гора Хамар-Дабан – десятый вал, высочайший, черный и белоголовый.

Но эта чудная картина, наводящая на глубокие размышления, не занимала нашей отважной путешественницы: утомленная трудным подъемом и проникнутая холодом, от которого не было никакой защиты, она с ужасом увидела перед собою еще крутейший спуск, который по причине невозможности провести его по горе, пристроен к ней в роде галереи, висящей над пропастью; высокие перила этой галереи были совершенно занесены снегом.

Дутиков – из сострадания ли, или вследствие придуманного им нового плана возвращения «заблудшей дочери» в отчий дом – велел остановиться поезду и, за неимением здесь лесу для дров, приказал отрыть из-под снега одну надолбу и развести огонь, около которого и уселись путники. Дутиков тотчас завел разговор, направленный к избранной им цели.

– Ах, мой ангел, ты, кажется, знаешь по-бурятски? А ведь наши ямщики буряты и ни слова не знают по-русски.

– Так что ж ты хотел бы им сказать?

– Ну, хоть здравствуй.

– Менду.

– А прощай.

– Тоже менду.

– Как же это: и здравствуй и прощай менду?

– Не знаю, но, кажется, это слово имеет другое значение, именно означает мой брат. Говорят еще: амур менду!

– Амур? А что значит амур?

– Амур – значит спокойствие.

– Странно, у нас амур значит другое и вовсе не доставляет спокойствия. А как сказать: ступай назад?

– Сорга ябу.

– Сорга ябу, – повторил про себя Дутиков и, продолжив разговор в этом роде, наконец сказал:

– Пора же нам и спускаться.

– Спускаться! – вскрикнула Марфинька, – я боюсь, мне не усидеть на седле; я свалюсь и полечу в пропасть.

– Как же нам? А вот я придумал средство. Мы тебя, как милое дитя, запеленаем в одеяло и положим между вьюков, и ты спустишься точно в колыбели.

– А если я вместе с лошадью улечу?

– О нет, лошади берегут сами себя; они так осторожно спускают что никакой нет опасности.

Подтверждение этого видно было на начавших спускаться передовых лошадях: они точно принимали все возможные позы, чтобы благополучно сойти при крутых поворотах, садились даже, что с лошадьми только здесь и может случаться. По это кувырканье, которому подвергались и всадники, еще более напугало Марфнньку, и она согласилась быть спеленанною.

Где научился наш Душков искусству нянюшек, неизвестно; но только он так искусно спеленал свою капризную малютку, что любо было посмотреть.

Уложив ее между назначенных им же вьюков, жених с материнскою нежностью осмотрел благонадежность ее положения, прикрыл лицо ее вуалью и тихо сказал ямщику:

– Сорга ябу (ступай назад).

И когда тот, поворотив лошадь, медленно начал спускаться по той же крутизне, по которой недавно поднялись наши путники, Дутиков самодовольно улыбался своей хитрости, успокоив свою совесть тем, что мужчина, привезший Марфнньку, – еще на станции и примет ее для доставления обратно.

Удостоверившись значительным расстоянием, разделявшим его с нареченною невестою, что они расстались, Дутиков, в давно желанном одиночестве, пустился в путь и к вечеру прибыл на станцию, где и расположился ночевать, потому что по этому страшному пути ночью не ездят.

Станция состояла из единственной деревянной избы, но, за неимением ничего любопытнее, наш путешественник, с помощью натурального гриба, обращенного в подсвечник, начал рассматривать голые стены и нашел, что они сделаны из бревен необыкновенной толщины, плотности и белизны, которой не затмевал толстый слой пыли. По расспросам оказалось, что избы построена из кедров, что турист и начал записывать в свои путевые заметки; – вдруг перо выпало из его рук; он услыхал, что кто-то подъехал к станции, и не сомневался, что это неотвязчивая невеста.

Однако же послышался мужской голос, произносящий всевозможные проклятия дороге.

– Снимайте же меня! – наконец нетерпеливо приказал голос.

– Толмач угей (нет толмача, т. е. не понимаем), – смиренно отвечали ямщики, не двигаясь с мест и созерцая толстую фигуру приехавшего, сидящего на лошади.

– Я вам дам толмача! – закричал сердитый барин и махнул чубуком, бывшим в его руке, с намерением ударить одного из ямщиков.

– Не дерись, барин! – закричали ямщики чисто по-русски.

– А, нашелся толмач! – крикнул приезжий и уже в самом деле хотел ударить, но, потеряв равновесие, как сноп, свалился с лошади.

Полился новый поток проклятий, с которыми приезжий и вошел в избу.

– Представьте себе, – обратился он прямо к Дутикову, без всяких предисловий, – представьте, я три дня ничего не ел и не пил; на этой, дороге, кроме того, что нет никакой дороги, а есть только заячья тропинка, нельзя достать ни самовара, ни куска мяса, ни даже молока или яйца. В Иркутск мне добрые знакомые прислали на дорогу всего: и булок, и жаркого и пирожного; но я почел это одною обязательностью здешнего необыкновенного гостеприимства и велел нее это оставить...

– Да, оставить, – шепнул про себя спутник рассказывавшего, также, вероятно, мучимый голодом и шептавший довольно громко, так что Дутиков ясно расслышал, – да, оставил, велел продать, жид этакой...

– Да-с, – продолжал первый, – велел оставить, потому что, по обычаю этой замечательной страны, никто не нашел нужным предупредить меня, что все это необходимо будет в дороге: здесь, так как сами все знают, – полагают, что и заезжий также знает все, т. е. все сюрпризы этой разнообразной страны. Давно ли, кажись, я ехал в тарантасе, по прекрасной дороге и вдруг посадили меня на клячу... О, о, ох! как болят мои ноги и спина: шутка ли, сорок верст сидеть точно на колу и притом еще на каждом вершке быть встряхиваемым, не считая того, сколько раз я падал... вот там, например, дорога идет по коридору, справа пропасть; естественно, что я всячески берегся не упасть в пропасть и, держась более налево, потерял равновесие, упал и покатился было в преисподнюю, но, к счастью – это только здесь и можно назвать счастьем, – к счастью, лошадь моя остановилась я накатился на ее задние ноги и удержался за хвост. Седла мне, как видите, – заметил рассказчик, указав на свой значительный объем, – седла мне малы; малосильные, питающиеся воздухом здешние лошади беспрестанно спотыкаются под моей тяжестью. А скажите, пожалуйста, сколько еще остается верховой езды?

– Верст двести, если вы не распорядились доставить нам с той стороны тарантаса.

– Двести, Боже мой! А о тарантасе я вовсе и не думал, как мне было это знать. И нигде ничего нет съестного?

– Нигде. Но успокойтесь! Здесь я с вами разделю, что у меня есть: а на следующей станции вы догоните одну путешественницу, у которой большой запас припасов, и я напишу ей, чтобы она уделила вам всего.

– Как, позвольте, может быть, я не расслышал, вы изволили сказать путешественницу! Может ли это быть?

– Да, и притом очень молодую и милую девицу.

– Она ехала по этим горам?

– И еще гораздо высочайшим, которые предстоят вам.

– Дивно. Поверю только тогда, как увижу сам. Но Боже мой, еще двести верст?

Разговаривая таким образом и, разумеется, подкрепившись хорошим запасом съестного, который имелся у Дутикова, новые знакомцы разлеглись на противоположных скамьях и вскоре заснули.

В полночь Дутиков тревожно проснулся: ему представилось, что его разбудил голос Марфиньки, но, удостоверившись, что это было сновидение, он снова заснул.

Когда уже изба была освещена утренним светом, Дутиков раскрыл глаза: первый предмет, им увиденный, был лежащий на передней скамье тюк, завернутый в медвежью шкуру, которого с вечера тут не было.

– Спите вы, почтеннейший сосед? – спросил он.

– Нет, батюшка, до сна ли; все кости болят, и притом кто-то, верно, еще приехал, тут ходили...

– Вероятно, вот и новый чемодан лежит, но где же вновь приезжий? А должна быть, это почта.

– Как! Разве и почта ночует на этой дороге?

– Непременно, это единственный, может быть, во всем государстве путь, где для хода почти не положено сроку.

– И простительно им: я думаю, трудно бедным выдерживать эту дорогу.

– Я знаю случай, который доказывает, что самое, железное здоровье может выдержать только шесть переездов через эти горы.

Сказав это, Дутиков встал и прохаживался по комнате; подойдя к косматому тюку, он между черною шерстью медведя заметил что-то белое с розовым отливом, представлявшее разительный контраст своею рамою. Он приблизился и – нашел прелестное личико спящей девицы, – и кого же? своей Марфиньки Слесаревой.

Первым движением его все-таки любящего сердца было поцеловать это особенно пленившее его явление, но другая струна его сердца прозвенела ему о возможности еще раз ускользнуть от своей преследовательницы и даже сдать ее на руки толстому путешественнику, который радостно возьмет ее, с запасом съестных припасов.

Пройдя еще раза два по комнате и обдумав свое положение, он обратился к толстяку, еще расправлявшему в постели свои кости.

– Я думаю обратиться к вам с серьезною просьбою.

– Сделайте одолжение, просите у меня всего, кроме съестного, которого дайте мне.

– Все, что имею, и кроме того хочу дать вам спутницу

– Какую же?

– А вот она перед вами.

– Какая, где, что?

– Тише, она спит. Надо вам рассказать, что эта девушка Сибирячка; а под этим именем должно разуметь существо прекрасное, отважное и капризное. Выросши посреди этой дикой природы, населенной дикими зверями, которые не знают над собою никакой власти, девушка эта усвоила себе характер, если не тигрицы, которых нет в сибирских лесах, по крайней мере, рыси. Она в полном смысле слова своевольна и, влюбившись в меня, оставила родителей, гонится за мною в Россию. Вчера я ее отправил обратно; а сегодня она явилась тут. Вы сделаете большое одолжение ее родителям, если доставите ее в их дом; а я, разумеется, навсегда ваш покорнейший слуга.

– Но, помилуйте, чем мы будем вдвоем питаться в этой пустыне?

– О, об этом не хлопочите, ее снабдили на дорогу всем, что нужно.

– Снабдили? Стало быть, она уехала не самовольно.

– Как вам сказать... Здесь родители соглашаются выполнять все капризы детей для того, чтобы поступки их не казались самовольными; но скажите: есть ли здравый смысл в том, чтобы по этой дороге ехать девице?

– Я не нахожу здравого смыслу даже и в том, что мы с вами, особенно я, едем по этой дороге, но есть обстоятельства... может быть, вы сами ее взяли с собой...

– Я расскажу вам все, как было.

И Дутиков почти рассказал все, что нам известно, или, по крайней мере, то, что считал нужным, потом прибавил:

– А если вам в Петербурге нужен человек, который готов исполнить каждое ваше поручение, – адресуйте прямо ко мне.

Тот, кто нашел выгодным продать подаренные ему съестные припасы, расчел, что полезно, на случай, иметь такого человека в столице, и дал слово отвести Марфиньку обратно.

Уладив это, Дутиков тотчас распорядился своим отъездом и вышел сам понуждать сборы.

Между тем Марфинька... Мы не будем приводить сравнений из мира мифологического, а найдем его в домашнем быту... между тем Марфинька, как прелестный цыпленок, вылупилась из своей скорлупы и птичкой начала порхать перед удивленным толстяком.

Кончивши сборы, Дутиков вошел проститься со своим новым знакомцем, и очутился лицом к лицу со своим гонителем.

– Здравствуйте, – сказал он.

– Прощайте! – отвечено ему сухо.

– Как? стало быть, вы едете обратно... и прекрасно, вот вам почтеннейший спутник; он взялся проводить вас к папеньке и маменьке.

– Хорошо, поезжайте; а мне предоставьте заботиться самой о себе.

– Но вот господин...

– Хорошо, оставьте нас с ним, желаю вам счастливого пути.

– Итак, прощайте!

– До свидания.

– Может быть.

– Непременно.

Дутиков, впрочем, не нашел нужным пускаться в объяснения этих загадочных слов, вышел, сел па коня и по... я хотел сказать было, поскакал, но, верный истине, должен сказать, что он поехал шагом.

Оставшись наедине с своим истинным контрастом, воздушная Марфннька не замедлила с ним познакомиться и досказать ему то, что скрыл Дутиков из их истории. Она рассказала ему, как вчера догадавшись по слуху, что едет одна, она тотчас остановила ямщика, отдернула вуаль и, расспросив его, велела заворотить опять вперед. Доехав до страшного спуска, который ее напугал, она обратилась за советом и помощью к своему провожатому, и тот, отвязав от своего седла медвежью шкуру, которую вез для продажи, завернул в нее отважную трусиху и в этом импровизованном экипаже спустил ее под гору и потом, положив снова па вьюк, доставил ночью па станцию, разумеется, получив за это должное вознаграждение.

– Вы намерены ехать со мной обратно?

– Ни за что.

– Что ж вы намерены делать?

– Я ночью же послала на следующую станцию за экипажем: я знаю, что уже возят на легких экипажах, разумеется, за тяжелую плату; я совершенно измучилась верховой ездой и не могла бы преследовать обманщика... к счастью, меня предупредили, что отсюда можно ехать в экипаже.

– А вперед нельзя? – спросил толстяк.

– Нет, но вы можете воспользоваться изобретением бурята: купите у него эту медвежью шкуру и спуститесь на ней под крутизны.

– Я непременно этим воспользуюсь; но скажите, что вы намерены делать далее?

– По приезде в Иркутск я обращусь с жалобой на этого бесстыдного обманщика.

– Что же вы можете ожидать, если его принудят исполнить обещание?

– О, как говорит пословица: «стерпится – слюбится», лишь бы он на мне женился. Быть полковницей! Для этого я готова все перенести.

– Да ведь только здесь в диковину полковники: а знаете, сколько их а столицах, даже генералов.

– Как, неужели есть еще полковники!

– О Боже мой, и сколько!

– Не может быть! Я вам не верю.

– Вот увидите.

IX

В Иркутске наш путешественник получил от старика Слесарева следующее письмо:

«Не удивляйтесь, что я решился отпустить с вами дочь. Я всегда видел, что тот бывает наказан, кто обманывает, если только Бог допустит его до обмана, в чем я весьма сомневаюсь. Итак, я уварен, что ни я, ни дочь моя не потерпим от этого, с первого взгляда неосторожного поступка. Все мы здоровы и вам кланяемся».

– Рассуждай! – сказал самому себе Дутиков и распорядился скорейшим отъездом.

За «триумфальными воротами» города, которые воздвигнуты в память событий отечественной войны, Дутиков увидал себя одного в тарантасе, вздохнул свободно и сказал: «Наконец, кажется, отстала! Вот воспитание-то дают здесь женщинам! Боже мой! Может ли быть такая своевольная женщина хорошей матерью!.. на это надо обратить внимание; написать статью, напасть на этот порок со всем ожесточением...»

Рассуждая в этом роде, он достиг Нижнеудинска, маленького городка, мило разбросанного по обе стороны реки Уды, у подошв золотоносных гор.

День был праздничный. Дутиков пошел к обедне, потому что имел свободное время по случаю починки тарантаса.

Перед окончанием Божественной литургии дьякон поднес ему просфору и сказал, что отец Евграф желает с ним видеться. Когда все молельцы вышли, Дутиков стоял посреди храма, теряясь в догадках, для чего он нужен отцу Евграфу.

Из алтаря вышел старец высокого росту с открытым правильным лицом: длинные, седые, блестящие его волосы расстилались по плечам; такая же борода покоилась на груди. В светлых глазах его отражалось высокое спокойствие души и ее счастье, которым она только что наслаждалась, молясь Вечному о Его творении. Мягкость, кротость, смирение – эти черты мужской красоты вселили невольно уважение в нашем путешественнике к вышедшему к нему священнику. Он подошел, испрашивая благословения.

– Да благословит вас Бог! – сказал священник, – но чувствуете ли вы себя достойным принять это благословение?

– К чему этот вопрос, отец?

– Нет ли на совести вашей тяготящего ее поступка?

– Я не приготовлялся к исповеди.

– Но не ожидали ли вы, что вас где-нибудь остановят?

– Вы имеете на это право?

– Имею, – ответил священник, вынув бумагу и показав ее.

– Я не ожидал этого, но этому рад; меня не так поняли, и недоверчивость ко мне причиною такой тревоги.

– Однако ж на что вы решаетесь?

– Я возьму ее с собою. Я всегда готов был на ней жениться, но не могу сделать этого без позволения моего начальства.

– Итак, повторяю, да благословит пас Бог. Она у меня, пойдемте ко мне.

Не нужно объяснять, что Марфинька не остановилась в Иркутске, чтобы в большом городе не потерять из виду своего беглеца, она приехала раньше его в Нижнеудинск, представила тамошнему священнику свидетельство кяхтинского священника и просила его покровительства.

Как в огромном здании есть по местам столбы, поддерживающие его целость, так в мире нравственном, есть также по местам столбы непоколебимой прямоты и честности, готовые всегда дать нужную опору слабым. К числу таких блюстителей принадлежал отец Евграф; он с жаром принял сторону несчастной, – и Дутиков с первого взгляда разгадал, с кем имеет дело. Он тотчас сдался и волею-неволею должен был снова поместиться в одном тарантасе со своим милым врагом. Не будем следовать за подробностями путешествия и перенесем наш рассказ и наших – жениха и невесту прямо в Петербург.

Без всякого сомнения – к лучшему природа дала большей части людей души мягкие, впечатлительные: они, как молодые растения, зеленеют и цветут на солнце, колеблются при легком ветре и гнутся долу при буре и урагане. Не много на земле дубов, которые гордо противятся всем переменам погоды и выдерживают страшные грозы, не много людей, которые при всей изменчивости обстоятельств постоянно идут к избранной цели и большею частью достигают ее.

К числу этих немногих вовсе не принадлежал подполковник Дутиков.

Проехав несколько тысяч верст в обществе своей спутницы, он свыкся с се характером, нашел его очень милым, нежным, способным осчастливить его одинокую жизнь. Ее веселость, беспрестанное желание нравиться ему, готовность угождать, все это вполне помирило жениха и невесту, и он благословлял уже необыкновенную настойчивость, с которою она решилась следовать за ним; воображение его рисовало счастливую семейную жизнь и все сопровождающие ее наслаждения.

По приезде в столицу, путешественник был принят так, как принимается здесь всякая новость: его рассказы о всем том, что он видел, что испытал, слушались с восторгом; он едва имел время навещать свою спутницу; а о соединении с нею узами брака не имел времени даже подумать, не только привести его в исполнение.

В свою очередь сибирячка очутилась в совершенно новом мире, который ей даже никогда не снился, предалась единственно изучению его и, считая себя принадлежащею своему избранному, не напоминала ему об исполнении своего слова.

Так прошло довольно времени. Марфинька, а вместе с ней и мы лишены были возможности следить за поступками нашего героя. Он отлучался с квартиры во всякое время, часто озабочен был какими-то новыми занятиями, – но, когда только имел свободную минуту, посвящал ее на ласки и утешения своей уединенной невесты.

В один вечер он вошел к ней с озабоченным видом и сказал:

– Представь себе, какая неприятность: я просил позволения на наш брак; правда, мне в нем не отказали, но требуют прежде исполнить поручение, которое нельзя отложить, и для этого мне должно ехать на Кавказ.

– Что ж, – смиренно отвечала Марфинька, – и я пойду с тобой.

– Как можно? На Кавказе горы еще выше сибирских, подъемы и спуски круче... Притом, я нигде не остановлюсь надолго, тебе трудно будет выдерживать переезды из одного места в другое... но я приискал средство это уладить: в Москве я имею родственницу, она с удовольствием примет тебя к себе погостить, пока я съезжу на Кавказ. Возвратясь оттуда, я тотчас получу позволенье, – и тогда уже в белокаменной, ты сделаешься полковницей Дутиковой, а может быть, и генеральшей...

Подумав немного, Марфинька смиренно отвечала:

– Я согласна.

Вскоре Дутиков объявил, что он получил поручение и готов к отъезду: сборы продолжались не долго, и наша чета оставила Петербург.

В Москве, где действительно оказалась родственница Дутикова, она и приняла к себе его спутницу, на время его поездки на Кавказ. Затем последовала трогательная сцена расставанья двух любящих сердец, со слезами, объятиями, поцелуями, уверениями, клятвами, обещаниями и проч. и проч.

X

Спустя несколько дней, в один поздний и темный вечер, в ярко освещенном Петербурге, дом графа Нулина освещен был еще ярче... Это тот самый граф Нулин, который в молодости своей путешествовал за границею и на возвратном пути оттуда, по причине сломанного экипажа, помните, заезжал к одному помещику, у которого жена была Наталья Павловна. По приезде в отечество, Нулин съездил в свою деревню, оставил там хорошего управителя, разумеется, прогнавши прежнего, потом принялся сначала писать, затем служить, украсился лысиною, выстроил дом, женился, стал отцом... словом, известная и обыкновенная история... Множество карет, большею частью таких, которым время и владычество моды дозволяло только показываться ночью, стояло у подъезда дома графа. В доме гремела музыка и танцы кипели самым горячим ключом. В антрактах кадрилей большим против других кавалеров вниманием общества пользовался молодой штаб-офицер, который, кроме своего блестящего мундира, сиял еще более блестящею улыбкою самодовольствия и счастья.

– Расскажите нам, полковник, – спросила одна дама, которая, конечно, если оставляла когда-нибудь Петербург, то для того только, чтобы видеть европейские города, их обычаи и увеселения, которые, впрочем, можно видеть и не оставляя никогда Петербурга... – Расскажите нам, как там, в Азии, веселятся, например, как танцуют?

– Русские точно так же танцуют, как и здесь.

– Нет, не может быть, там за Уралом танцуют кадрили?

– Да, кадрили, вальсы, польки, мазурки.

– И даже польки?

– И даже польки... Разумеется, что иногда встречаются маленькие погрешности, да и музыка не везде хороша.

– А туземцы?

– Туземцы совсем другое дело; у них свои танцы, разумеется, самые младенчествующие.

– А, а, вот это нам и расскажите, и, если можно, покажите, полковник! – закричало несколько голосов.

– Как это рассказать? Надо показать, и если угодно вам, madame, протанцевать со мной один бурятский танец.

– О, нет, фи, как это можно.

– Или вам...

– Нет, нет...

– Я буду с вами танцевать, покажите только – как.

Это сказало одно прелестное создание, с вспыхнувшим в это мгновение лицом, обрамленным густыми кольцами распущенных светлых локонов. Выражение улыбки и взгляда, обращенных к полковнику, доказывали, что она готова с ним танцевать танец всех веков и народов, танец любви, которого никак не может истребить все истребляющее время.

– Вы? Прекрасно, прекрасно! Вы и теперь явились подать мне спасительную свою ручку, иначе я никак не мог бы удовлетворить любопытству общества.

– Эта рука или ручка, как вы ее называете, ваша, – стыдливо шепнула, девица, – располагайте ею.

Между тем как кавалер рассказывал своей даме простые начала одного подмеченного им в Азии танца, многие голоса шептали:

– Вот прелестная пара, они созданы друг для друга, вот будут образцовые супруги и т.д.

К этому, конечно, не нужно прибавлять, что эта прекрасная пара были жених и невеста, скажем только, что бал был дан по случаю их обручения. Великолепный дом, отборное общество, богатство украшений – все показывало, что составляется самая выгодная в материальном отношении партия, а прелести невесты доказали, что здесь соединено приятное с полезным. Только оставалось узнать фамилию будущего зятя графа Нулина, как он, обратясь к обществу, сказал:

– Прошу внимания, сейчас начнется танец.

– Что же, будет играть музыка? – спросил кто-то.

– Ничего, мы будем петь.

– Браво, браво! Это совершенно ново.

Молодая пара выступила на средину зала; кавалер и его дама стали друг к другу лицом, взялись за руки и, медленно припрыгивая, касались ногами друг друга, накрест, т. е. правой ногой – правой и левой – левой, поочередно, припевая в это время.

– Ёхор, ёхор, ёхор!

Все искусство танца состояло в том, чтобы припрыгивать и касаться ног в такт этому очень простому напеву!

– Ёхор, ёхор, ёхор!

Напев этот, сначала протяжный, потом сокращался и усиливался до того, что прыганье, сперва медленное, обратилось наконец в самое быстрое движение, и ноги танцующих мелькали едва приметные.

Все общество ожидало, что танец разовьется в более разнообразные формы, но танцующие прекратили его.

– Как, только-то?

– Только. Однако же там за этим танцем проводят целые вечера, даже ночи.

– Не может быть, как это можно!

– Уверяю вас.

– Нет, нет, мы нам не верим, продолжайте, покажите нам весь танец.

– Уверяю вас, что больше ничего нет.

– Не верим, не верим!

– А я так верю, – заметил мужчина в наглухо застегнутом черном фраке, но весь вечер не принимавший участья в танцах и до сих пор остававшийся скромным созерцателем их.

Внимание всех обратилось к нему; его мнение, по-видимому, играло важную роль.

– Да, – продолжал он, – я верю, потому что этот оригинальный танец – ничто иное как все наши танцы, взятые вместе.

– Как, что такое, помилуйте!

– Точно так. Возьмите, например, несколько разных цифр, единиц, десятков, сотен, тысяч, напишите их, и сложите в одно число, не будет ли оно коротко и ясно, и между тем равно всем этим разнообразным цифрам.

– Так, но это метафора, это шутка; давайте нам прямое доказательство.

– Или возьмите несколько кривых, косых, ломаных и тому подобных движений ногами, приведите их в одно правильное движение, и вы получите тот же самый вывод, как и с цифрами.

– Но этот танец однообразен, монотонен, не одушевлен никаким искусством.

– А наши па не подведены разве под одну меру, раз, два, три! Не то же ли это что – «ёхор. ёхор, ёхор»!

– О нет, какое сравнение, как можно!

– Не буду спорить, но я убежден, что показанный нам танец в отношении к нашим танцам есть ничто иное, как один крупный кредитный билет в отношении к мелкой серебряной монете, имеющий равную с ней ценность.

Он почтительно поклонился и вышел в другой зал, никто, конечно, из веселого общества не разделял его оригинального мнения, загремела музыка, и зашаркали французскую кадриль.

Черный, наглухо застегнутый фрак снова показался в дверях зала, и на лице носившего его присутствовала улыбка полного сомнения.

– Посмотрите, – сказал ему не танцевавший молодой человек, – как это мило, как это изящно, как оживленно; о, как просвещенное человечество оставило далеко за собою жалкое непросвещенное человечество.

– Пойдемте, – отвечал неверующий в танцы, – я покажу вам их такими, как они есть в самом деле.

Они вышли на балкон. Г. N. старший, наглухо затворил дверь в зале, так что музыку едва было слышно; а когда они прошли по всей длине балкона и остановились у окна в танцевальную залу, которое по времени года имело уже двойные рамы, то музыки вовсе не стало не слышно.

– Смотрите в зал, – сказал он господину N. младшему.

Тот пристально взглянул в окно и увидел несколько человек, в немом молчании делающих разные прыжки и движения.

Старший N запел в такт:

– Ёхор, ёхор, ёхор!

И потом спросил:

– Скажите, не то же ли это, что мы видели давича, исполняемое только несколькими парами?

Младший N. молчал. Зрелище, которое ему было показано, поразило его совершенно неожиданностью. Танцуя страстно с самого младенчества, он никогда не воображал, чтобы танцы, при отсутствии волшебных звуков музыки, имели такую комическую сторону, с которой он теперь видел их. Чем больше он вглядывался в танцующих, тем больше находил смешного в их немых движениях.

Младший N. разразился страшным хохотом.

– Благодарю вас, – сказал он, – вы меня излечили от этой болезни; я никогда не забуду этого зрелища; я никогда не стану танцевать.

– О зачем это; напротив, танцуйте, платите необходимую дань своим летам, но только не придайте танцам того значения, которого они вовсе не имеют, и не тратьте на них всего своего капитала, который потом к нам не возвращается; я говорю о драгоценном времени молодости.

– Карету полковника Дутикова.

– Как? Что это значит, бал только что начинается, а жених оставляет его? – спросили оба N. N. друг друга.

В это время полковник, сопровождаемый одним из членов семейства дома, показался на подъезде.

– Что бы ни случилось, полковник, – говорил ему провожавший, – но вы прежде всего должны иметь в виду, что завтра назначен день вашего бракосочетания.

– О, не беспокойтесь. Это какой-нибудь минутный каприз нашего добрейшего начальника. Он читает мои путевые записки; вероятно, встретился какой-нибудь вопрос, и он послал за мной. Я тотчас возвращусь. Танцуйте и не давайте заметить моего отсутствия.

– Ведь вы не получили еще бумаги о браке, позаботьтесь об этом.

– Она, вероятно, уже подписана; завтра утром обещали мне ее доставить.

– Может быть, вы ее получите теперь?

– Очень может быть... До свиданья!

Он сел в карету и уехал.

Подполковник Дутиков по приезде в Петербург, как это становится нам теперь понятным, подвергся новым впечатлениям в этом мире обаянии, и встретил тысячи Марф и Марфинек, которые обещали ему гораздо блистательнейшую будущность, чем наша бедная, с обольстительными прелестями Сибирячка. Особенную выгоду предоставило ему родство с графом Нулиным, который, по значению своему и богатству, мог много сделать для своего будущего зятя. Устроивши это важное дело, Дутиков, разумеется, счел нужным совершенно удалить от себя Сибирячку и для этого выдумал поездку на Кавказ и вспомнил о своей родственнице в Москве, которая оказала ему в настоящее время важнейшую услугу.

Требование его с бала к начальнику нисколько его не обеспокоило. Он предположил в этом какое-нибудь новое поручение по службе, новое средство к отличию, тем более важное, что добрейший начальник, вероятно, приготовил его как подарок к дню его свадьбы.

В таких приятных предположениях он вошел в приемную зала начальника.

– Я вас отвлек от удовольствий, сказал начальник.

– Я готов оставить всякие удовольствия для исполнения приказаний вашего превосходительства.

– Вы просили у меня письменного позволения о вашем бракосочетании.

– Я был столько счастлив, что получил обещание вашего превосходительства подписать его сегодня.

– Да, я подписал.

– Душевно благодарю ваше превосходительство.

– Да, о благодарности после; это мой долг; я обязан был сделать так, а не иначе.

– Ваше превосходительство делаете меня совершенно счастливым.

– Вот вам эта бумага; исполните ее в точности. Здесь не может быть переменено ни одно слово.

– О, непременно.

– Прощайте.

Положив бумагу в карман и приняв шинель, Дутиков бежал к карете, думая между тем:

– Вот странность. Нужно же было для этого меня требовать. Впрочем, кстати, я привезу на бал эту бумагу как сюрприз, как подарок моей милой невесте.

Он вбежал в зал с сияющим лицом и, как в это время танцевали вальс, то и он тотчас пустился в этот танец, для которого был настроен, как нельзя лучше.

Он вальсировал со своею невестою и нашептывал ей слова любви и предписания самого приятного и удобоисполнимого из всех предписаний, какие только получаются от начальства.

Те, которых несколько обеспокоило его внезапное отсутствие, увидев его вальсирующим и веселым, совершенно успокоились; и только ожидали случая расспросить его о причине такого экстренного требования.

Случай этот представился очень не скоро, уже по окончании танцев, Дутиков, измученный мазуркою, наконец, в кабинете графа бросился в вольтеровское кресло, расстегнул мундир и предался отдыху.

В это время из-под мундира выпала к нему на колени полученная им от начальства бумага.

– Кстати, – сказал он, – его превосходительство сделал мне сюрприз, прислал за мною, чтобы вручить мне позволение на брак. Вот оно.

Граф Нулин взял бумагу и стал читать. Лицо его приняло серьёзное выражение.

– Вы читали эту бумагу? – спросил он подполковника.

– Что тут читать? Известное дело: полковнику Дутикову позволено сочетаться первым браком с дочерью графа Нулина, девицею Еленою.

– Да, прекрасно... положите же бумагу в карман и, как приедете домой, тотчас ее прочтите; тут есть небольшая ошибка.

– Так я сейчас прочту.

– Нет, не нужно; завтра утром вы ее исправите, если можно. Теперь пойдемте ужинать.

Сначала подполковника Дутикова озадачило это замечание, он вспомнил двусмысленные слова начальника, – но вскоре догадался, что будущий тесть его над ним шутит, как это обыкновенно делают со счастливыми женихами. Однако же проснувшись наутро довольно рано для человека, протанцевавшего большую часть ночи, он потребовал бумагу, лежавшую в кармане его мундира.

Развернув лист, он нашел тут две бумаги следующего содержания.

Первая: «Подполковнику М. М. Дутикову позволено вступить в первый брак с купеческою дочерью девицей Марфою Слесаревою».

Вторая: «Подполковник! Ко мне явилась купеческая дочь Марфа Слесарева и представила неоспоримые доказательства данного вами обещания жениться на ней, для чего вы и привезли ее с собою в Петербург. Поставлю прямым своим долгом требовать от вас, чтобы это обещание было завтра же исполнено. Никакие возражения неуместны. По вступлении в брак, вы тотчас же отправитесь на назначенное вам, по гражданской части, в ...ской губернии место».

Через три дня молодая чета оставила Петербург, и с тех пор, сколько известно, очень счастливо живет в провинции, сделавшись уже довольно старою четою.

*1855*

**К уроку 11.**

**Аполлон Ордынский. «Привидение на заимке».**

**Язон АРГОНАВТОВ (н. и. – Аполлон ОРДЫНСКИЙ)**

**ПРИВИДЕНИЕ НА ЗАИМКЕ**

*Сибирская легенда*

*Цянь (небо) – муж, Кхунь (земля) – жена.*

*Муж и жена – один сатана...*

*(Смесь китайской отвлечённости с русской практичностию).*

В наш просвещённый век, век повсеместного распространения знания и неодолимой страсти блеснуть при всяком удобном и неудобном случае своим знанием, трудно, весьма трудно найти человека, который бы не думал, или, по крайней мере, не говорил о философии. Один учился философии, другой ее видел, а третий слышал об ней от людей образованных, следящих за современным развитием идей и наук. Философские термины сделались неотъемлемою принадлежностию в разговоре как о самых пошлых явлениях обыденной жизни, так и в тех случаях, когда мы не хотим сказать ничего ясного и положительного. То и дело, что слышишь со всех сторон: анализ, синтез, принцип, a priori, a posteriori, прогресс, реализм, индиферентизм, обскурантизм и проч. Одним словом, век наш – век философии, и все мы от мала до велика стараемся быть или казаться философами, потому что философия сделалась такою наукою, без которой не только жить нельзя, но и не стоит.

Мудрено ли после этого, что и Сысой Артамоныч, бывший главный доверенный обанкрутившегося сибирского золотопромышленника Толстобрюхова, считал себя философом не хуже других, хотя и не издавал в свет «теории уженья рыбы в мутной воде», теории, которую свет был в праве от него требовать, если бы ему (т. е. свету) благоугодно было сообразить: каким чудом Сысой Артамоныч, поступивши первоначально в дом Толстобрюхова мальчишкою, лакеем, не имеющим копейки не только в карман, но даже и за душою, мог впоследствии сделаться главным доверенным хозяина, возноситься по мере его упадка и наконец сколотить себе такое состояньице, которое дозволило ему распрощаться с заботами всякой подчиненности, сделаться значительным пайщиком или участником в доходах не одной, а нескольких надежных золотопромышленных компаний и зажить независимо сосредоточенно, как подобает философу.

Но так как свету, слишком озабоченному собственными делами, было не до Сысоя Артамоныча, разбогатевшего не естественным образом и не до Толстобрюхова, покончившего расчёты с кредиторами весьма просто (с помощью английской бритвы), то Сысой Артамоныч жил да поживал себе, занимаясь своей философиею.

Мы также с своей стороны не имеем желания поднимать всю подноготную прошедшей жизни Сысоя Артамоныча, и готовы остаться при той мысли, что он обогащением своим был обязан своей философии. О сладкая мысль! Кто из нас, философов (я считаю себя и вас, читатели, непременно философами) кто из нас, говорю, начиная учение, не мечтал, что наука – вернейший путь к достижению счастия, богатства и почестей, а между тем глупость, как тысяча лет тому назад, так и ныне, продолжает разъезжать себе в золоченой карете, подобно лорду-мэру Лондона, мы же учёные, философы, большею частию пробираемся по терниям жизни пехондросом. Оно, конечно, здоровье подвергать себя моциону, но, признаюсь, мне как-то с трудом верится, что мы заслуживаем имя образованного народа тогда, когда мы решительно не даем преимущества знанию и уму пред другими достоинствами, большею частию ложными.

Сысой Артамоныч принимал нынче одно, отвергал другое, а завтра делал наоборот и, подобно многим философам, не мог заметить шаткости своих убеждений. Другим тоже не приходилось замечать этой шаткости потому, что Сысой Артамоныч, хотя и твердил каждому встречному и поперечному, что посвятил себя изучению философии всех времен и всех родов, а может быть и составлению новой, однако же всячески старался избегать резкого столкновения, в котором могли бы ярко выказаться или глубокие его познания, или грубые недостатки.

Начав умственное свое образование, упомянутое нами выше, теориею уженья в мутной воде, и сделав неимоверные открытия, могущие возвести эту теорию на степень положительной науки, Сысой Артамоныч не довольствовался завистию своих сограждан и тихими похвалами a la Tchitchikoff самому себе, произносимыми в минуты наслаждения настоящим своим благоденствием и сравнения его с давно прошедшим состоянием. Нет! Ему хотелось, чтобы не только современники, но и отдаленное потомство воскурили фимиам его изобретательным способностям. Уверенный в себе, Сысой Артамоныч бросался на те задачи, решение которых давно уже признано невозможными. Незнакомый с механикою научным образом, он несколько лет между делами посвятил на планы построения perpetuum mobile, потом перешел к философскому камню; но как алхимические опыты сопряжены были с значительными издержками, а Сысой Артамоныч, по мере увеличения своих капиталов, развивал в себе более и более незнание цены денег, то он, вследствие экономических расчётов, обратил наконец свое внимание на духов и привидения, т. е. на разоблачение связи видимого мира с невидимым. Предмет, как изволите видеть, довольно важный, а главнее всего, самый дешёвый. Стоило только, по уверениям одного мистика, демонолога и некромантика: недели две или три порядком попоститься, поудержаться от всяких суетных помышлений и мелких житейских страстишек и всею силою души предаться ожиданиям явления духов. Они не замедлят явиться и тогда Сысою Артамонычу, как человеку тотальному, весьма легко было бы подметить те таинственные нити, которыми связуется вещественное с невещественным. Сысою Артамонычу непременно хотелось открыть эти нити, и его горячее желание перешагнуть за пределы действительного и войти в сношение с существами высшими, несколько, по моему мнению, непредосудительно. Оно доказывает желание совершенствования, свойственное человеческой природе. Оно доказывает естественное стремление души к соединению посредством таинственных сил с бесконечным началом. Да! Вера в привидения и таинственные призраки, одним словом вера в чудесное, существовала в первых эпохах истории человеческого рода; она проявляется и ныне, несмотря на современный скептицизм и вероятно останется постоянным спутником человечества в дальнейшем его развитии, в особенности если предположим (а нельзя не предполагать) что источник этой веры, этого бессознательного убеждения, заключается в психической стороне нашего организма, как сущность человеческой природы, нераздельная с нашим бытием. Нет ни малейшего сомнения, что человек сначала был существо чистое, следовавшее почти бессознательно законам Творца, вложенным в его сердце. Страсти затемнили в нем священный инстинкт, его внутреннее повиновение высшим законам. И вот пред человеком исчезло многое, что было доступно в первоначальное время его младенческим чувствам и взорам, но вера в чудесное осталась и останется навсегда при нем, как бы он ни старался забыть потерянное, какие бы пределы его разум не назначал воображению.

Возвратимся к Сысою Артамонычу. Наш достопочтенный философ стоял... позвольте мне выразиться несколько пиитически... стоял на рубеже двух миров друг другу противоположных, но достигнувши этой, впрочем, не слишком завидной грани, он не решался на малейшее движение вперед, движение, которое бы разом подняло таинственную завесу с области вечного мрака и недоумения. Эта нерешимость, это китайское поклонение золотой средине обнаружились в Сысое Артамоныче со времени ужасной смерти золотопромышленника Толстобрюхова. Сысой Артамоныч не решался на окончательные свои исследования в области сверхъестественного по весьма простой и уважительной причине: он опасался, чтобы вместо появления незнакомых духов, к нему не явился слишком знакомый облик старого хозяина с окровавленною шеею и, вместо открытия неведомых миру истин, не упрекнул бы его какими-нибудь старыми историями, которые, наш философ всячески забыть старался. Сысой Артамоныч был человек с слабыми нервами, а может быть и принадлежал к трусливому десятку. Впрочем, для некоторого опровержения сомнений насчёт храбрости Сысоя Артамоныча мы знаем из достоверных фактов, что он однажды ночью ходил прямо через кладбище к одному пустынному и дикому месту, а именно к одинокой могиле Толстобрюхова. Как там он производил наблюдения, – известно только светилам небесным. Ко всему этому остается прибавить ещё следующее обстоятельство: посещение могилы Толстобрюхова бывшим его главным доверенным произошло ни раньше, ни позже, как в ночь, следовавшую за той страшной и бурной ночью, в которую Сысой Артамоныч, поднявши на ноги весь дом свой и даже соседей, с лихорадочною дрожью уверял всех, что к нему приходил некто с красным шарфом на шее, смотрел исподлобья сверкавшими, как молния глазами и говорил нечто невыразимо-ужасное.

Вероятно, желая несколько развлечься среди тяжёлых впечатлений, оставленные на душе таинственным ночным посетителем, наш философ и духовидец, ровно через пять дней после этого происшествия попросил руки единственной дочери бывшего своего хозяина, воспитавшейся в Москве и, по приезде к отцу, оставшейся решительно без куска хлеба.

Весть о намерении Сысоя Артамоныча жениться взбудоражила весь наш город. Все завопили против неожиданной его выходки. Как! Философ, посвятивший себя таинственным изысканиям и поставившей целью разъяснение величайшей загадки в области метафизики, вздумал с эфирной высоты духовного сообщения с бесконечным началом погрузиться в материальную глубину супружеского ложа? Вот тебе и философия? Так восклицали многие, сочувствующие трудам Сысоя Артамоныча для пользы человечества в области таинственного. Но были и такие простаки, не понимавшие решительно нашего доморощенного гения, которые кричали во все горло: чёрт с его философией! Пускай себе женится, только не на дочке Толстобрюхова! Ведь это просто ни на что не похоже! Ведь это ужас, святотатство!

Ужели дочь бывшего золотопромышленника, воспитанная в столице, была недостойна нашего духовидца? Мы сами имели удовольствие видеть Любовь Патрикеевну и остались в восхищении от нее. Она была чрезвычайно умна и грациозна. Круглое личико её отличалось необыкновенною нежностью, а несколько вздернутый носик и карие плутовские глаза придавали ему особенную прелесть. Губки её хоть и не могли похвастать тонкостью очертания, но были чудно алые, а это своего рода достоинство. Присовокупите к этому изящные светские манеры, уменье поговорить о разных предметах большею частию недоступных нашим сибирячкам, и вы невольно сознаетесь, что Любовь Патрикеевна была девушка хоть куда.

Любовь Патрикеевна на предложение Сысоя Артамоныча отвечала, как можно было предполагать, не только самым грубым презреньем, но даже высказала вечную, непримиримую вражду и ненависть к бывшему доверенному её отца, по её словам, обокравшему, разорившему своего благодетеля, виновнику его ужасной смерти. Сысой Артамоныч, как истинный философ, выслушал все эти реприманды, не изменяясь в лице, и на другой день явился вновь с своим предложением. Любовь Патрикеевна вероятно не находила в себе слов для поражения такого наглого бесстыдства, а потому она молчала, а Сысой Артамоныч отправился восвояси с покойным видом, как будто дело было уже в шляпе. В городе все начали восхвалять 19-летнюю сиротку и её стойкость противу обольщений опасного искусителя. В особенности пели восторженные панегирики Любови Патрикеевне матушки и тетушки, у которых на руках состояли готовые к сбыту невесты. Они за отказ её первому в городе жениху, каким считался Сысой Артамоныч, превозносили ее до небес.

Но в общем мнении родного города девица Толстобрюхова недолго наслаждалась заслуженным высокопочитанием, потому что на третий день, когда неутомимый Сысой Артамоныч явился перед нею с своим роковым предложением и когда весь город был уверен, что нахального философа отпотчуют ухватом или кочергою, Любовь Патрикеевна с какой-то плутоватой, но любезной и ей только свойственной улыбкою, подала ему руку, изъявляя полное свое согласие соединить судьбу свою с его судьбою и извиняясь в недоразумениях, которые ей воспрепятствовали принять его лестное предложение с первого разу. Все в городе ахнули и старались поскорее разного рода грязью забросать кумира, которому за несколько часов воскуривали обильный фимиам. Но когда наступила свадьба и весь почти город получил приглашение участвовать в радости бракосочетавшихся, то все порицатели жениха и невесты не преминули явиться к ним первые, и блага, которые со всех сторон призывались ими на нашу чету, могли бы осчастливить не только нашу Сибирь, но даже все северное полушарие.

Однако, несмотря на всеобщие, по-видимому, желания, супруги не могли похвастать не только особенным, но и самым обыкновенным счастием. Сысой Артамоныч едва успел возложить на себя сладостные узы Гименея зауросил, как дикий бык, очутившийся в ярме, он с первого же дня начал твердить жене своей, что он взял ее из человеколюбия для спасения её, дочери бывшего своего хозяина, от нищеты и голодной смерти; что мать её своими причудами разорила в пух мужа, но что он, Сысой Артамоныч, никому в свете не позволял собою распоряжаться... Любовь Патрикеевна слушала все это с большим хладнокровием и не искала ни малейшего случая для сближения с мужем, начавшим мало-помалу ее избегать. Жизнь ее была довольно скучная, но она по-видимому не отчаивалась. Имела ли она какие-нибудь надежды в будущем? Был ли у ней заранее обдуманный план? Трудно решить... На этот раз я хроникер, а не романист. Красота и молодость Любови Патрикеевиы безответно, безропотно похоронились в душной атмосфере занятой по хозяйству, прерываемых иногда посещениями какой-нибудь бесчиновной кумушки, поспешившей передать ей какую-нибудь сплетню, да напиться чайку, или какого-нибудь чиновного гостя, завернувшего к мужу побеседовать о философии, а потом пройтись по рюмочкам.

Впрочем, трудно допустить, чтобы мечты молодой, страстной, забытой мужем женщины не перелетали за порог её одинокой спальни, и чтобы сны её, хоть изредка, не возмущались какими-нибудь обаятельными видениями, от которых по пробуждении сладко замирает сердце, а кровь так и бросается в голову. Но каким образом могли бы осуществиться эти мечты?

Нужно вам знать, что наш город – единственный в своем роде. Вы не услышите здесь никаких скандальных историй. Ловеласов, Дон Жуанов, Армид и Кларисс здесь от века не бывало. Нравственность наших чиновниц, купчих и гражданок вошла далее в пословицу. У нас нет ни любви, ни интриг, ни бегства из дома родительского, ни препятствий неодолимых к супружеству. У нас вечера проходят не только без любезностей, но даже и без танцев. Нежных чувств и рокового влечения между обоими полами, по самым вернейшим справкам, не оказывается. Одним словом, наш город есть самый невинный клочок земли, нечто вроде Туруханска, или, вернее сказать, Толстого мыса. Причиною такой удивительной апатии есть нечто иное, как то, что мужчины, вероятно, не стоят быть любимыми искренно н сильно, а женщины не позволяют до себя дотрагиваться мужчинам не потому, чтобы они боялись вспыхнуть от этого прикосновения, но потому... что от него могли бы измяться оборки их воротничков, или даже просто... чересчур накрахмаленные юбки.

В городе нашем все живут келейно и только в праздники и высокоторжественные дни сталкиваются, и с большим участием осведомляются о здоровье друг друга. Жизнь и судьба многих в нашем городе походят на судьбу улиток водных.

На мутном дне печально прозябая,

В часы одних волнений непогодных,

Однажды в год, быть может даже реже,

Наверх они, на вольный свет проглянуть,

Вдохнут в себя однажды воздух свежий,

И вновь на дно своей могилы кануть.

Любовь Патрикеевна любила книги и в своем уединении охотно предавалась чтению. В доме Сысоя Артамоныча стояло несколько шкафов с книгами, но это был чистый умственный винегрет. Рядом с классическими и практическими сочинениями красовались на полках разного рода оракулы, сонники, гадания. Книг же беллетристического содержания не было и в помине, не только в доме её мужа, но даже и во всем городе. И немудрено: Сысой Артамоныч, как известно, занимался одной философиею, чиновники и купцы службою и коммерциею. Что же касается жен их, то они, голубушки, все почти были неграмотные, следовательно, читать было некому. И вот Любовь Патрикеевна начала потихоньку заводить собственную библиотеку. И хотя у ней не было никаких средств, потому что Сысой Артамоныч сам своею особой вел расходы по дому и хозяйству, но у ней была добрая связка ключей, которую она тщательно скрывала, а кто имеет ключи, тот что-нибудь ими отпирает, в противном случае для чего же их беречь? Вскоре у Любови Патрикеевны появились Монте-Кристо, Вечный жид, Графиня Монсоро, Три мушкетера и другие сочинения. Сысой Артамоныч не мешал ей заниматься литературою. Любознательность жены льстила его самолюбию.

Я сказал выше, что в праздники и высокоторжественные дни наше общество сталкивается, и каждый член его с заботливости осведомляется о здоровье прочих. Движение начинается после обедни и продолжается до позднего вечера. Сысой Артамоныч, как первый богач, но уж вероятно не как ученый, пользовался всеобщим уважением в городе. Не только в высокоторжественные дни, но даже и в каждое воскресение у него собирался порядочный круг гостей. Часто Сысой Артамоныч, извиняясь глубокомысленными своими изысканиями, поручал гостей жене, а сам убегал в свой кабинет и Любовь Патрикеевна, с редким в нашей глуши искусством, занимала гостей. Многие сознавались, что, будучи на месте Сысоя Артамоныча и владея такою милашкою и умницею, как его жена, они бы непременно забыли все отвлечённости и всякую философию. Но у Сысоя Артамоныча вероятно в груди вместо сердца был кусочек кремня, завернутый в трактат утилитарной философии Иеремии Бентема, или просто даже в российскую ассигнацию. Он не занимался женою, избегал ее. С своей стороны она тоже не старалась с ним сближаться и между ними вскоре образовалась такая – пустота, такая щель, в которую мог пролезть и вылезть любой проказник, не ободравши кожи.

Недавно приехавший из Москвы на службу в наш город губернский секретарь Проползанов, был из числа самых частых посетителей в доме Сысоя Артамоныча. Он первый сообщил нашему философу о новом открытии в области таинственного, о столоверчении. Несколько опытов, произведенных москвичом пред Сысоем Артамонычем, сделали дом философа доступным для Проползанова во всякое время. Проползанов вовсе не походил на наших чиновников в обществе всегда или связанных по рукам и ногам, или уж совсем развязанных и ничем не стесняющихся. Он был человек светский, кроме этого человек нового направления, с высшими взглядами. Так по крайней мере он сам утверждал о себе. Проползанов не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы не навестить нашего философа. Он с участием расспрашивал о новых исследованиях Сысоя Артамоныча и ещё с большим участием осведомлялся о состоянии здоровья его супруги, рассыпался в нареканиях что, новейшая наука старается всячески сорвать с природы поэтический покров таинственности, и горел нестерпимым желанием лично засвидетельствовать свое почтение Любови Патрикеевне, и когда наш философ, размазанный с головы до ног лестными похвалами молодого человека, уводил его в гостиную и поручал жене, то Проползанов чувствовал себя на седьмом небе.

Сысой Артамоныч был совершенно уверен в искренности и чистоте намерений молодого своего знакомого; однако это не мешало ему иногда с большою недоверчивостью посматривать сквозь замочную скважину в гостиную, где находилась Любовь Патрикеевна с любезным гостем. И вот однажды во время таких наблюдений за поборником животного магнетизма и столоверчения он подметил нечто такое, что заставило его самого завертеться с досады, и впасть в род такого ясновидения, которое не оставляло ни малейшего сомнения на счёт известного головного украшения каждого беспечного мужа. Следствием этого было то, что Сысой Артамоныч выскочил в зал из кабинета в халате, туфлях и колпаке и схвативши губернского секретаря за воротник с необыкновенной энергией выпроводил его за двери. Магнетизер, вероятно привыкший к подобным нецеремонным проводам, не очень хорохорился, хотя и погрозил Сысою Артамонычу гласностью. Но несмотря на это, дело осталось между Сысоем Артамонычем, губернским секретарем и Любовию Патрикеевной. Сысой Артамоныч не сказал жене своей ни слова.

Чувствовал ли он себя слишком виноватым в совершенном забвении своих обязанностей относительно жены? Признавал ли ее слишком правою в том, что она за это забвение хотела ему достойно отомстить, трудно сказать. Нам известно только, что задолго до этой сцены Любовь Патрикеевна стала приобретать какую-то моральную власть над своим мужем. Он как будто боялся ее и избегал не только сближения с ней, но даже и встречи. По целым неделям супруги наши не говорили между собою и даже не видались. Если же иногда случалось, что Любовь Патрикеевна являлась к мужу и требовала денег для уплаты по счёту швее, прачке или башмачнику, то Сысой Артамоныч, отдавая ей требуемую сумму, не смел взглянуть ей в глаза. Видя такое могучее влияние над философом, Любовь Патрикеевна нисколько его не боялась и действовала смело и решительно.

Но какими средствами бедная затворница достигла своего господства над мужем, который во всеуслышанье объявлял, что никому в свете не дозволит распоряжаться собой, история молчит. Можно, однако ж наверно предположить, что супруга философа могла и в себе почувствовать наклонность к философским занятиям и развила на досуге какую-нибудь теорию, вроде теории пробуждения преступной совести, посредством прямых и косвенных намеков.

После описанной нами сцены в зале, Любовь Патрикеевна, как только муж её отправился в кабинет, подошла к зеркалу, поправила свои локоны и плутовски улыбнулась. Потом взялась за книжку, несколько раз задумывалась и все-таки улыбалась. Наконец бросила книгу, пошла в спальню, переоделась и, вышедши в зал, запела любимый свой романс.

Не жемчуг дорогой

На цветочке блестит,

А росинка.

Не веселье в глазах

У девицы-души,

А слезинка!..

Сысой Артамоныч не любил пения вообще. Пение же его супруги и в особенности этот любимый её романс, отзывались в душе его словно звуки похоронного марша. Три месяца прошло после происшествия с губернским секретарем в доме Сысоя Артамоныча. Наступила весна. Природа ожила, но Любовь Патрикеевна захворала. С известием о расстройстве её всегда цветущего здоровья, к Сысою Артамонычу явилась девка Аниска, бывшая у жены его и горничной, и кухаркой, и компаньонкой. Она объявила, что Любовь Патрикеевна сильно занемогла, и просит послать за дохтуром.

– Чистая мать! – проворчал Сысой Артамоныч, – чуть что лить, голова закружится, али волосы распухнуть, посылай за лекарем!.. Наши бабушки от роду лекарей не видали, хворали, но по сту лет и более проживали...

Сысой Артамоныч, скрепясь сердцем, отправился в спальню к жене. Действительно Любовь Патрикеевна была бледна, как полотно.

– Чёрт возьми! – сказал он, поражённый её бледностью, и в уме его запрыгали самым неблаговидным образом: плата за визит лекарю и разного вида и величины пузырьки и банки с лекарствами, за которые также надо было платить. Сысой Артамоныч почесал себе затылок.

– Что же, пошлете вы за доктором, или хотите, чтоб я сама распорядилась послать к нему, Сысой Артамоныч? – произнесла Любовь Патрикеевна нисколько не изменившимся голосом.

– Потерпите маленько! – возопил Сысой Артамоныч, довольно жалобно. Я посоветуюсь с моими книгами. Есть у меня много симпатических средств... Это лучше всех лекарств, а главное... дешевле, – подумал он.

Но все его симпатические средства оказались недействительными над болезнью Любови Патрикеевны. Он готов был уже послать за лекарем и безнадежно смотрел на свой сборник симпатических лекарств, как вдруг предложение самой Любови Патрикеевны возвратило ему потерянную надежду на предохранение кармана своего от издержек.

– Послушайте, – сказала она. – Теперь лето, я забыла, что у вас есть прекрасная заимка. Я вздумала отправиться на заимку. Там свежий воздух, запах трав и деревьев могли бы благотворно действовать на мое расстроенное здоровье, лучше всех прославленных лекарств.

– И прекрасно! – подхватил обрадованный Сысой Артамоныч, переедем на заимку. Чистый воздух делает чудеса и за него никому платить не придется, – подумал он.

Считаю нужным дать понятие о наших сибирских заимках. Заимка – род фермы, а иногда и дачи. Каждый семейный чиновник, каждый купец, живущий в городе, стараются обзавестись хоть небольшою заимкой, не потому, чтобы там проводить лето, но для хозяйственных удобств. На заимке держат коров, свиней, птицу, заготовляют огородные овощи и сено. Заимка не только для чиновников и купцов считается самою необходимою вещью, но и для многих зажиточных крестьян. При всей своей полезности в хозяйстве, заимки имеют и свою дурную сторону. Усердная земская полиция большею частию открывала мертвые тела возле заимок самых зажиточных сибиряков, и хозяева страшно поплачивались за такие беспорядки, или, правильнее сказать, за неусыпную бдительность земской полиции над общественным спокойствием. Я слышал забавный анекдот об одном мертвом теле, которое, переходя от одной заимки к другой, прогулялось чуть ли не по всей губернии. Но это было в золотые прежние времена. Ныне же подобные случаи совершенно перевелись, или по крайней мере довольно редки. Покойная жена покойного Толстобрюхова, мать Любови Патрикеевны, теща Сысоя Артамоныча, Вера Флегонтьевна, была родом москвитянка. Она славилась как своею красотою, так и любовию к удовольствиям. Привыкши к столичным дачам, она и в нашем гиперборейском городе вздумала обзавестись дачею. Толстобрюхов был беспрекословным исполнителем прихотей своей жены. И вот, как будто по мановению волшебного жезла, в пяти верстах от нашего беззатейливого города появилась дача с прудами, фонтанами, беседками, аллеями, гротами и прочими столичными затеями.

Во время процветания дел покойного Толтобрюхова жена его каждое лето переезжала на дачу, и часто аристократия нашего города навещала её в этом поэтическом убежище. В памяти многих старожилов. до сих пор остались обеды и фейерверки, даваемые на компанейской заимке – так простолюдины называли дачу Толстобрюховой. Вера Флегонтьевна очень любила свое загородное жилище, несмотря на то, что там являлись какие-то привидения, пугавшие всех, кроме Веры Флегонтьевны, которая никаким ужасам не верила. Лихая баба была Вера Флегонтьевна, царство ей небесное!

По смерти Веры Флегонтьевны дача её приняла унылый вид. Не только наша аристократия перестала ее навещать, но даже и привидения поспешили из неё выбраться. Наконец она лишилась и почётного названья дачи и когда, по смерти Толстобрюхова, движимое и недвижимое его имущество поступило на удовлетворенье кредиторов, она, под скромным именем запустелой заимки, перешла с молотка во владенье Сысоя Артамоныча, который думал в ней учредить кожевенный завод.

Когда Любовь Патрикеевна возымела благое намеренье лечиться свежим, загородным воздухом, то Сысой Артамоныч, не помня себя от радости, немедленно распорядился приведением в порядок жилища покойной своей тещи. Он велел прорезать дорожки, исправить беседки, очистить гроты, перекрыть мостики. Чрез неделю дом, стоявший несколько лет в запустении, был прекрасно меблирован и Сысой Артамоныч повез свою жену на заимку в коляске, запряжённой парою лихих коней.

У самой почти заставы стоит дом, в котором квартировал наш знакомый губернский секретарь Проползанов. Когда коляска поравнялась с этим домом, Любовь Патрикеевна подняла, будто невзначай, кверху глаза, и посмотрела на одно окошко. В окошке этом показалась головка в бархатной ярмолочке с кистью. Головку эту можно было назвать головкою купидончика, если бы густые, огромные, великосветские бакенбарды не оспаривали этого названия. Головка слегка поклонилась. Любовь Патрикеевна сначала двусмысленно улыбнулась, потом с какою-то томностью во взгляде покраснела, а Сысой Артамоныч, на радостях от безденежного лечения жены, ничего кругом себя не замечал.

Так совершилось переселение Сысоя Артамоныча с Любовию Патрикеевною из города на заимку. Толстая Аниска, пользующаяся особенным доверием своей госпожи, каждый день то за тем, то за другим, посылается в город. Проползанов часто встречает ее за заставою и об чем-то с ней перешёптывается. Между тем дни идут за днями, и здоровье Любови Патрикеевны видимо поправляется. От её присутствия, утончённого вкуса и романических наклонностей заимка мало-помалу приняла такой вид, какой имела при её покойной матери. Гроты были тщательно выметены, клумбы покрылись цветами, даже жена сторожа, постоянно жившая на заимке со времени её основания, уверяла всех, что она видела ночью нечто, похожее на то привидение, которое появлялось при покойнице Вере Флегонтьевне, но Любовь Патрикеевна разбранила порядком распространительницу нелепых слухов, и, старушка принуждена была замолчать, пожимать с недоумением плечами да набожно креститься. Между тем знакомые Сысоя Артамоныча, узнавши о переселении его на заимку, сообразили, что Сысой Артамоныч может жить не хуже своего гостеприимного предшественника в хлебосольстве и умении жить. С этою мыслью многие начали посещать забытую заимку. Некоторые даже с семействами забирались в нее на несколько дней, желая подышать свежим воздухом и отдохнуть, от городского шуму, хотя в нашем городе был всегда самый чистый воздух и нигде, за исключением кабаков не происходило решительно никакого шуму. Сысою Артамонычу, делающемуся с каждым днем скупее и скупее, не слишком нравилось нарушение его уединения городскими посетителями, и так как жена его видимо поправилась, то он начал торопить её переездом в город. Но Любовь Патрикеевна и слышать об этом не хотела. Она уверяла, что для совершенного восстановления и поддержания её здоровья необходимо ей целое лето пробыть на заимке, и что она каждый год думает пользоваться здесь чудесным действием свежего воздуха вообще, а вечерними прогулками по росе в особенности.

Сысой Артамоныч от упрямства жены приходил в отчаяние. Наконец он, перебирая в уме своем разные средства, чтобы склонить ее к переезду в город, невольно остановился на воспоминании о привидениях, постоянно появлявшихся на заимке во время пребывания на ней покойной Веры Флегонтьевны.

– Ба! – сказал он сам себе, – Да ведь это преотличная штука. Я так устрою, что привидение явится, напугает мою жену и отобьет ей навсегда охоту от этой жизни на заимке.

Да не подумает читатель, что Сысой Артамоныч сделал такие успехи в философии, что начал по произволу своему повелевать духами и привидениями. Сысой Артамоныч стоял все ещё на границе вещественного с невещественным и двигался в кругу самых пошлых истин, не прибавляя никакой новой путаницы к старым путаницам человеческого разума. Сысой Артамоныч вздумал представить привидение собственною своей персоною и начал втайне приготовлять все необходимое к своему намерению. О существовании же нового на заимке своей привидения, о котором рассказывала жена сторожа, Сысой Артамоныч, благодаря стараниям предусмотрительной Любови Патрикеевны, ничего не слыхал.

И вот в одну прекрасную лунную ночь, закутавшись в простыню, надевши на сапоги белые чулки и выбеливши лицо мелом, Сысой Артамоныч отправился в сад, в ожидании выхода своей жены на обыкновенную её прогулку по вечерней росе. Сысой Артамоныч, глядя на луну, звёзды, тени дерев и на свое фантастическое одеяние, погружался в свою роль более и более, и наконец, подобно Веспасиану, вообразившему себя богом, наш философ вообразил себя действительным привидением. Он забыл о жене, городе и считал землю каким-то фантастическим царством, где он был единственным жителем и владыкою. Воздушной поступью переносился он из аллеи в аллею и наконец почти носом уткнулся во что-то белое, движущееся.

Сысой Артамоныч образумился, вспомнил где он и зачем пришел, – и пристально посмотрел на это белое, движущееся. О чудо? Перед ним такое же самое привидение, закутанное в белый саван, в белых чулках. Оба привидения, по-видимому, смутились нежданной своей встречею и с неистовым любопытством созерцали друг друга. Вот Сысою Артамонычу представляется, что привидение, стоявшее перед ним, не только имеет румянец, но даже густые, длинные великосветские бакенбарды. Такая несообразность со всеми понятиями о привидениях поражает философа, и он смело подвигается к привидению, простирая к нему руки, желает убедиться осязательно ли оно, подобно ему, или нет? Но привидение само бросается на Сысоя Артамоныча, вероятно, с подобною же целью и между ними начинается страшная борьба, неслыханная борьба в летописях не только нашего скромного города, но и всей восточной и западной Сибири. Выходец с того света старался освободиться из рук нашего гения, Сысоя Артамоныча; он немилосердно царапал ему лицо, кусал руки, но и Сысой Артамоныч не оставался в долгу и вскоре лица обоих, сражающихся превратились в куски сырого бифстекса, так что весьма трудно было узнать, кто философ, а кто привидение. Роковое это событье конечно обошлось не без шуму... Шум услышан был Любовью Патрикеевной, которая вышла на свою прогулку по вечерней росе... Её сопровождала верная Аниска, с небольшой корзинкой под мышкою. При пособии жены и кухарки удалось нашему философу освободиться из объятий привидения, которое тотчас же скрылось, оставив в зубах Сысоя Артамоныча кусочек человеческого носа!

Измученный, истерзанный Сысой Артамоныч был приведен в дом и уложен в постель. Послали за доктором. Вероятно, Любовь Патрикеевна не слишком надеялась на сборник симпатических лекарств своего мужа. Но не смотря на искусство и старанья нашего окружного эскулапа, Сысой Артамоныч недели через три после роковой встречи с привидением отправился из мира видимого в невидимый. Там вероятно докончит он свои глубокие исследованья. В продолжении болезни он постоянно был в бреду и только несколько раз приходил в себя. Тогда он обращался к жене, которая ни днем, ни ночью не отходила от его постели, – «Ведь это было настоящее привидение, правда, жена?»

– Правда, – отвечала она с глубоким вздохом, подносила к глазам платок и закрывала им свое личико.

Перед кончиною своей Сысой Артамоныч велел подать себе кусочек носа, хранимого, по желанью его, в хрустальной банке, в спирту.

– Завещаю тебе, – сказал он жене, этот победный трофей моих изысканий. Он доказывает ясно, что между вещественным и невещественным существует неразрывная связь, но понять, осязать эту связь не всякому удается... разве только философу!.. Но Любовь Патрикеевна, не чувствуя в себе ни малейшей охоты к философическим умозрениям, не слишком дорожила завещанным ей трофеем. Она за шкатулку своего мужа отдала бы все царство духов и привидений. Через семь месяцев по смерти мужа она благополучно разрешилась от бремени сыном. Проползанов перешел на службу в другую губернию. Он тоже долго чем-то был болен и не выходил из квартиры до получения указа о переводе.

Теперь Любовь Патрикеевна – богатая вдовушка. Она не думает однако же выходить замуж.

– «Бог с ним, с замужеством! – всегда твердит она городским кумушкам, постоянно навязывающим ей разных женихов. Будет с меня! Помаялась я довольно с моим покойником... теперь, коли Бог веку продлит, поживу себе вольной пташкой».

Любовь Патрикеевна занялась коммерциею: открыла значительную торговлю, подобрала себе лихих приказчиков и, судя по глубокому уважению к ней жителей нашего благословенного города, дела Любови Патрикеевны должны находиться в самом цветущем состоянии.

Многие из этих жителей, припоминая увлечение Сысоя Артамоныча в вышние пределы и глядя на его супругу, принявшую совершенно противоположное направление, повторяют китайскую пословицу: «небо – муж, жена – земля». Другие же, разбирая каким чудом неблагоприобретенное состояние Сысоя Артамоныча перешло в руки законной его наследницы, пожимают плечами и не могут удержаться, чтобы не произнести, хоть втихомолку, известную русскую пословицу: «муж и жена – один сатана». Но никто из них не отказывается от роскошных обедов на заимке, куда каждое лето переселяется Любовь Патрикеевна и куда сопутствуют ей четыре отборнейшие приказчика. вероятно, с благою целию, предохранять её от привидений.

*1862*

**К уроку 12.**

**Василий Михеев. «На станции».**

**Василий МИХЕЕВ**

**НА СТАНЦИИ**

*Эскиз*

I.

– Было это, господа, лет 10 тому назад, – рассказывал бывалый пожилой сибиряк в столичном обществе, в кругу зажиточных, утонченно образованных людей, по-видимому довольных собой и окружающим.

– Случилось мне ехать между Томском и Красноярском. Дело было зимой и довольно суровой зимой. Поэтому мысль остановиться на станции, погреться чайком довольно часто приходила в голову. Подъезжаю к одной станции, вылезаю из кошевы – в кошеве ехал, прикрывшись войлоком, – вхожу в станционный дом. Помещение довольно заурядное. Две-три комнаты с попортившейся штукатуркой, уставленные старинною мебелью из красного дерева, обитой темною кожей. На стене подслеповатое, пузыристое зеркальце. Вижу – на одном из столов уже кипит самовар. А вокруг него целая компания. Оригинальная и печальная компания. Мужчина лет 35 в арестантском халате, женщина, почти: такого же возраста – в темном шерстяном платье, сверх которого на плечи наброшен обыкновенный мужичий кафтан из солдатского сукна, два жандарма в полной форме и на руках у одного жандарма ребенок, мальчик, лет 3-4, в черном полушубочке. У мужчины умное, крайне изможденное лицо, но кроткое. Так и видно, что этот человек решил быть терпеливым до конца, что ему больше ничего не остается. Супруга же его; как я, разумеется, догадался, наоборот... Мне кажется, я в жизни не видал такого злого лица. Не злого по природе, но озлобленного. Лицо желтое, даже белки глаз желтые. Ну, словом, желчевик в юбке, да еще пришибленный жизнью. У жандармов предобродушнейшие мужицкие физиономии, а мальчишка – прехорошенький, прездоровенький, очевидно рад, что попал в тепло, сидит себе на руках усача унтера и балакает что-то на своем малопонятном языке.

Знаете, господа, как взглянул я на эту компанию, сердце у меня упало. Тяжело стало. Ведь какой аккорд-то, так сказать: этот кроткий барин арестант, эта озлобленная дама, их добродушнейшие стражи и этот невинный беззаботно-лепечущий ребенок. Видал я разные виды, не из чувствительных тоже – но хотел было повернуть из комнаты. Но желание согреться победило. Сел я у другого столика, подали мне другой самовар, заварил я чай, сижу, пью. А те за другим столом – тоже пьют, помалчивают. Вот господа часто говорят: «воцарилось тяжелое молчание». Но мне кажется, до этой встречи я не имел ни малейшего понятия, что такое воистину тяжелое молчание. Тошнее оно брани, криков, стонов.

Сидим это мы, поглядываем друг на друга – они на меня – я на их компанию... Видали как смотрят друг на друга посетитель зоологического сада и зверь в клетке? В этом роде. Только чувствую я, господа: нехорошо молчать. Надо о чем-нибудь заговорить, да попроще, пообыденнее заговорить... И заговорил. И уж не знаю почему, обратился не к барину, не к барыне, а к добродушному унтеру, который мальчонку-то держал. Что, говорю, служивый, как дорога? Догадался я, что мы ехали друг другу навстречу, я к Томску, а они к Красноярску.

– Под Томском-то? А не знаю, ваше благородие. Мы ведь сменные. Под Томском не были. Недалечка отсюда сменились... Вот они должны знать: из России едут, – добродушно отозвался унтер, продолжая гладить головку ребенка и указывая заскорузлым красным пальцем на арестанта.

После этого указания мне неловко было не обратиться к последнему. Но я все медлил, точно искал того крайне деликатного, осторожного тона, с которым следует обращаться к такому несчастному человеку. Но он предупредил меня. С тихою улыбкой, точно извиняясь этой улыбкой, что он сам решился заговорить, – он сказал слабым охрипшим, как у человека после болезни, голосом:

– Дорога сносная... Есть ухабы... Но ехать можно.

Но я раскаялся, что затеял этот разговор. Жена его вся как-то съежилась и, сверкая глазами, вдруг зашипела точно змея:

– Тебе все сносно. Впрочем, тому, кто на каторгу едет, такая дорога еще лучше – пускай привыкает!

Муж ее побледнел, как полотно, жандармы засопели и уткнулись в деревянные чашки, из которых пили чай... Страшно тяжелая минута настала. Но мальчуган выручил.

– Дядя! я апийся! – раздался его серебристый голосок, и он бойко сполз с колеи жандарма.

– Напился, голубчик, чайку, ну и слава богу. Поди побегай, – добродушно сказал унтер, сам осторожно помогая ребенку сойти на пол.

Мальчуган действительно начал бегать. Трогательное впечатление производило это маленькое, круглое создание в своем полушубочке, живое, бойкое, улыбающееся, с светленькими наивными глазками. Но мне снова стало страшно. Глаза его матери обратились к нему, я что это были за глаза, если б вы видели, господа – какая мучительная злоба дышала в них!.. Вдруг ее тонкие бледно синие губы раздвинулись, и все тот же болезненно шипящий голос крикнул:

– Ванька! Кто у тебя отец?

Мальчуган остановился, поднял свою мордочку и, весело сияя глазками, как выученный попугай, пролепетал довольно громко:

– Посеенец, катозник!

Я видел, как у арестанта затряслась нижняя челюсть и, точно от невыносимой боли, тупо расширились тоскующие глаза... Я не выдержал, бросил пить чай и вышел из комнаты.

II.

Я почти ненавидел эту женщину. Но судьба не дала мне уехать с этой, как вы увидите, не совсем справедливой ненавистью.

Меня ждала крупная неприятность. Я пошел к смотрителю станции просить поскорее запрячь лошадей, а он мне вдруг объявляет: до утра лошадей никоим образом не будет. Проехал на ревизию красноярский губернатор и лошадей всех обобрал.

– Даже вон видели, – добавил смотритель – поселенца везут и то пришлось задержать, даром, что по казенной надобности. До утра нет лошадей. Ночью будут обратные. Под утро отстоятся, – решительно объявил смотритель и не стал больше разговаривать.

Делать нечего, пошел я на село искать вольных. Но мужичье, пользуясь случаем, заломило такую цену, что я только плюнул и решился ночевать.

Пошел к смотрителю опять, попросил его позволить лечь у него в комнатах, ввиду того, что «проезжая» занята. Смотритель оказался холостым и охотно уступил мне диван в каморке, изображавшей его кабинет. Как только я заполучил этот самый диван, провалившийся как лодка, но какой-то необыкновенно уютный и крайне удобный для спанья, я сейчас же и завалился на него. Хоть и было еще светло, но делать было нечего, а с морозу спится превосходно, да и смотритель обещал приготовить лошадей на самой заре: надо было успеть выспаться... Действительно, с морозу я уснул должно быть, как богатырь, сразу, как в нирвану погрузился.

Но в нашем лучшем из миров есть некие микроскопические существа, – с которыми никакой богатырь, никакая нирвана ничего не поделают. Я проснулся вдруг, как-то разом, чувствуя, что весь горю... Я вскочил как встрепанный, в темноте, не зажигая спичек (уже совсем стемнело), принялся раздеваться и ожесточенно трясти белье. Спал я, раздевшись, подостлав плед и покрывшись шубой. Но вдруг среди этой ожесточенной борьбы в темноте с врагами человечества мой слух поразило что-то необычайное. За перегородкой, у которой стоял столь заманчиво гостеприимный, но столь злокачественно населенный диван – слышался истерический нервный, полуподавленный плач и чей-то слабый необыкновенно страдальческий голос. Перегородка не доходила до потолка и потому все это было слышно мне необыкновенно ясно. А то, что я услышал, настолько меня заняло, что я совершенно забыл переселившихся на меня обитателей дивана...

– Катя, полно, не плачь. Еще Ваню разбудишь. Да и смотритель может услышать – он, кажется, тут за перегородкой спит... Да и наши эти... жандармы... Они ведь у двери в коридоре. – говорил слабый, ровный, полный терпения и кротости, голос.

– Ах, пускай все, все «мышат! – перебил его сквозь подавленное рыдание другой голос, – какое мне дело... Не могу я не плакать. Гадина я, змея, аспид... терзаю я тебя. Тебе и так тошно, а я... – и снова полуподавленные бурные всхлипывания...

– Голубка, да ведь понимаю я, – продолжал первый голос, – ведь не от злобы ты, тяжело тебе... Я только об одном хотел тебя просить... Зачем ты Ваню этим дурным словам учишь?.. Теперь он маленький... а потом ведь поймет... Зачем отравлять душу ребенка?

В ответ на это до моего слуха донеслось подобие стука, как будто кто-то ударился головой обо что-то твердое – ударился и принялся исступленно колотиться.

– Катя, – болезненно задрожав, взмолился мужской голос, – опомнись же, ради бога... как можно себя так терзать!

Женский голос не отозвался... Удары головы обо что-то твердое продолжались. Послышался шум как будто от борьбы.

– Не удерживай меня, – исступленно зашептал женский голос. – Дай мне убить себя, гадкую, подлую...

– Катя! помни, что ты мать! – молил по-прежнему с глубоким терпением голос мужчины.

– Была я матерью, когда жила в хоромах да в довольстве, рядила да баловала ребенка... А чуть ударила судьба, нахлынуло горе, и озлобилась, озверела, как пришибленная гадюка! Нет во мне любви, любви во мне нет, милый ты мой, несчастный мой! Ни к тебе, ни к Ване... злоба во мне, одна злоба, дикая, больная злоба на судьбу, на всех!

– Да от любви в тебе эта злоба, пойми ты – от любви, – все так же кротко старался вразумить свою беснующуюся жену мой сосед. – Жаль тебе нас: и меня, и Ваню, и себя... Покорись, Катя, потерпи...

И как будто успокоенная этим голосом женщина затихла... Слышались только тихие подавленные всхлипывания. Точно не взрослый человек, а ребенок, жалкий, обиженный ребенок плакал за перегородкой... Я в темноте оделся, забыв своих микроскопических врагов, и ощупью выбрался из каморки в коридор, запнулся ногами о тела спящих на полу жандармов, перешагнул через них, нащупал дверь на крыльцо, толкнул ее и вышел на воздух.

Ночь была ясная, звездная. Я вздохнул легче. Точно кошмар с себя сбросил. Эта душная тесная каморка, это горящее от укусов тело, эта темнота – все это, действительно, как кошмар, отуманило меня... Накинув шубу на голову, до самого рассвета, когда мне запрягли лошадей, просидел я на крыльце...

Что я передумал тогда, на этом крыльце, в тишине и тьме этой ночи, в полном одиночестве... Э, да что распространяться! – закончил рассказчик, и горестно махнул рукой.

*1895*

**К уроку 13.**

**Михаил Загоскин. «За умолчание».**

**Михаил ЗАГОСКИН**

**«ЗА УМОЛЧАНИЕ»**

*Рассказ.*

I.

Был тихий, ясный и теплый вечер половины августа 18\*\* года. На западной части небосклона горела румяная заря и ее нежный светло-розовый отсвет ложился на окрестности поселка Никольского. В воздухе чувствовался запах свеженакошенного душистого сена, доносившийся с соседних лугов.

В отворенные ворота Егора Семеныча Качегырова, очень богатого крестьянина, то и дело входили новые посетители из серого деревенского люда и присоединялись к кучке мужиков, толпившихся у крыльца довольно красивого домика и о чем-то без умолку галдевших. На земле, у самого крыльца, лежал связанный и немилосердно избитый человек, вся одежда которого состояла из каких-то лохмотьев, смутно напоминавших армяки серого арестантского сукна. Человека этого называли Иваном Шишкиным!.. Собравшихся мужиков Егор Семеныч почему-то усердно угощал водкой. Многие были уже порядочно навеселе: шумели, перебранивались, спорили.

– Што же, по-твоему – Богу на его молиться? Али глядеть, значит, на стенку привесить, заместо патрета?.. Нет, вон Загребаловы… те, так небось по-свойски с Ванькой Крученым обошлись... Вот это резон!.. – нападала шапка с белым околышем на бедный «шойданик». – Эх ты!..

– Стал бы я ево суды ташшить, ка-ак же, дожидайся! – вмешалась рыжая борода.

– Да хто бы ево стал ташшить-то – энергически воскликнул околыш. – Это он нашелся такой дурак. Один только!

– Оно конечно – лес... тут бы ему и карачун... – извинялся шойданик.

– «Конешно... лес...» – передразнил белый околыш. А ты чево смекал? На племя, стало быть, желательно было пустить?.. «Конешно... лес...»

– Да што ж я… коли он такой живушшой!.. – огрызнулся шойданик, – И так клали... натешились... Тоже Евлеха-то не дурак – мужик ребры-то починивать... саданет –своих не узнаешь...

– Спать! Ну-ко! – потчевал Егор Семеныч шапку, с белым околышем, протягивая ей под самый нос полную чайную чашку.

– Тяни, Петрован! – подносил он ту же чашку рыжей бороде.

И чашка пошла по рукам.

Вдоль стены, под окнами, расположилось на корточках три армяка.

– Вот этот нагрел бы! – заметил один из них, неопределенного цвета.

– Здорово! – согласился другой.

– И дернула ево нелегкая в эту Еловку... шел бы в лес до вечера... а там поминай, как звали...

– А ловко было нагрел! Давича Егор-от Семеныч, быдто угорелый бегает.

– Поить теперь... –усмехнулся черный армяк.

– Пои-ить!

– Што ему! Все бы пропали... А тут много ли уйдет...

К ним подошел Егор Семеныч.

– Пей, Лександро! – предложил он черному армяку.

– Оно почему не выпить... С благополучьем!..

– Ну, а што, примерно, по-вашему, следовает с ним... – обратился Качегыров к мужикам, показывая на Шишкина. – как то-ись урезонить?..

Но вопрос этот остался без ответа. Нет. молчали, словно боясь произнести неосновательное мнение, которое могут, пожалуй, и не одобрить.

– Ну, так как же? – повторил он.

– А, по мне, прибавить ему, значит – и ступай! – смело заявил белый околыш.

Опять молчание. Только в задних рядах кто-то с неудовольствием пробурчал: «эк выпалил –прибавить»!

– В волость бы приставить, старики... Бог с ним! – тихо промолвив один из мужичков, небольшого роста, с умным и симпатичным лицом. – Он во грехе, он и в ответе... Бог с ним! –добавил он, ласково улыбаясь.

Большинство было на стороне этого мнения.

– Ты это правду, Митрей Олексеич... в волость бы, верно…

– Самая подходящая статья, значит.

– Нашто лучше.

Но Егор Семеныч и еще два-три смелых и громогласных мужика положительно воспрепятствовали отправке Шишкина в волость.

– При-ста-вить? – вопросительно протянул Егор Семеныч, как бы удивляясь такому нелепому предложению и ожидая повторения сказанного, чтобы убедиться, действительно ли Митрей Олексеич сказал «приставить»: ведь могло и послышаться. – Ты это, Митрей Олексеич, с каких пор, ворам-то поташником объявился? а?

– Много уж приставляли – да што из этого? – заметил один из сторонников Качегырова.

– Не в первый раз! – подтвердил другой.

– Вестимо дело! – добавил третий.

И кучка остальных мужиков примолкла, а некоторые даже и согласились с доводами «первых опчественников». Митрей Олексеич махнул рукой.

Между тем, поминутно пополнявшаяся, большая фарфоровая чашка то и дело путешествовала из рук в руки, и мужики из состояния «навеселе» заметно переходили в другое, после, которого каждый из них обыкновенно говорит: «Выпимши был – не помню».

В полые ворота, один по одному, продолжали входить посетители.

– Што с ихним братом канителиться! – ораторствовал пьяный Егор Семеныч – Попал... Ну и следовает проучить ево... Непременно проучить следовает! А то: у одного стащил – сошло, у другого стянул – съехало... к третьему-то он уже смело, как по свое заберется... Да и другой, на ево глядя, туды же... Што – мол – не воровать-то? За это худа не бывает, еще спасибо сказывают...» Разор один, значит, а больше ничего...

– Разор! Это верно.

– Как есть разор!

– Подлинно, што так! –подхватили многие из мужиков.

– А как у одного-то стянул да проучишь следующим манером, – продолжал Качегыров, – так уж в другоряд-то он не захо-очет! Не-ет!.. И другой-от, кто ни на есть, на легкую-то добычу не раззарится: «Нет – мол, за это спасибо не сказывают... Так-то...

Совершенно пьяная толпа, под влиянием слов Качегырова, приходила в ярость, тем более, что действительно редкий из ее членов, не испытал на себе положения Егора Семеныча, то есть не был когда-нибудь, как он в настоящую минуту, «нечаянно» обворован. Мужики шумно переговаривались, придумывая, к какому наказанию притворить «мошенника» Шишкина: кто предлагал розги, кто – «пятки отбить», кто – переломать ребра... Один какой-то плюгавый и в высшей степени отвратительный мужичонко предложил даже «совсем прикончить», на что сидевший на земле, около Шишкина, Митрей Олексеич сквозь зубы пробормотал: «Ишь –прикончить... безбожник!»

– Жилы ему подрезать! – сообразил кто-то.

– Верно, жилы!..

– Право слово, подрезать! Небось сведет косолапы-то!..

– А, по-моему, пришибить, значит –и с хлеба долой!..

Видя, что рассвирепевшая и наполовину до без сознания пьяная толпа может скверно покончить со «злосчастным» Шишкиным. Митрей Олексеич старался незаметно освободить его от веревок, чтобы дать возможность как-нибудь скрыться.

Развязав Шишкина и шепнув ему «уходи», Митрей Олексеич нарочно смешался с толпою – чтобы отвратить могущее пасть на него подозрение в содействии Шишкину скрыться.

– Право слово, подрезать!.. – вспомнил плюгавый мужичонко.

– Вали!

– Ха-ха!.. Н-ну, штуку придумал! Лло-овко!

Подойдя к стене, у которой лежал Шишкин, плюгавый мужичонко со злостью прошипел: «У, черт!.. Не умел и попользоваться-то, разиня!» и пнул воображаемого Шишкина ногою, но попал в стену...

– Утек! – крикнул он и первый побежал к огороду.

Многие, разобрав в чем дело, бросились за ним. Отбежав несколько шагов, плюгавый мужичонко запнулся и упал... прямо на Шишкина, притаившегося около какой-то чурки.

– Стой! Вот он!.. Што, далеко ушел?!

Произошла свалка: посыпались тяжелые удары: послышались стопы, моление о пощаде...

– Простите, братцы! О-ой! отпустите, душу на покаяние! О-о-ох! Ба а-атюшки!

– «Простите?» А! тут так: «простите!» Вот я те прощу! Вот я те!.. –приговаривали в толпе, нанося Шишкину удары.

– Жарь! – Бей! – Ослобони-и-ите!.. О-о-ох! ослобоните! – Лупи – Голу-у-убчики! не буду!.. У-у-ух! больно! – Веревок! – Дуй! – Лупи! – О-о-ох! помилосердуйте... ради Бо... о-ой!

– Вот я те помилосердую!.. Я те утешу! – молотил кто-то.

Послышалось какое-то жюльканье, потом что-то хрустнуло.

– Веревок! Живо. веревок! – Бей!

Сначала пробовавший уговаривать мужиков Митрей Олексеич ушел. Теперь поздно было защищать Шишкина. Всякое слово, произнесенное в пользу жертвы раздраженной толпы, могло послужить только к худшему.

Шишкина за ноги потащили к столбу; голова его волочилась по земле стукаясь о камни и чурки. По дороге толпа не переставала наносить ему бесчеловечные удары.

– О ох! бросьте, братцы! Ро-ди-и-имые!

– Крути! – раздавалось в толпе!..

– Вяжи! – кричал плюгавый мужичонко. – Тяни! Крепче!

Окровавленного и совершенно обнаженного Шишкина притянули к столбу. Плюгавый мужичонко изо всей силы бил его по голове чем попало.

– Батюшки... – уже едва стонал Шишкин, – О-ох! штойте! Боже мой! ... тошно!.. Простите!.. Смерть моя...

Вдруг Шишкин замолк, тело опустилось совершенно неподвижно: ноги и руки повисли, словно плети; голова свесилась на грудь. Его не переставали бить, но он уже ничего не чувствовал.

Взошедшая луна была за тучей, как будто не желая сделаться свидетельницею этой жестокой расправы. Теперь она выплыла на чистую лазурь и, словно стыдя застывшую на одном месте совершенно безмолвную толпу, осветила рельефно выделившийся на темном фоне окружающего, привязанный к столбу, посередине двора, голый труп замученного Шишкина, с поникнувшею на грудь головою. Прошло нисколько секунд, и луна опять спряталась в собравшемся мороке, который мало-помалу начинал сгущаться. Наступила глубокая тишина – ни звука, ни шороха; тихо и темно! Вдруг толпа мужиков, неподвижно остававшихся, кто где стоял, вздрогнула и переглянулась: откуда-то из темноты ясно донеслись слова:

– Это вам так не пройдет! Прощайте.

II.

Иван Шишкин, поселенец вновь причисленный к выселку Никольскому, назад тому недели две поступил к Качегырову в работники. Утром в день происшествия Шишкин куда-то скрылся и где он был, Егор Семеныч не знал до самого полудня, пока один из его соседей, проходя но улице. не крикнул ему в окно, что он видел Шишкина в Еловке, и что Шишкин там пьянствует и тратит много денег. Егор Семеныч тотчас же подумал: «Откуда у него деньги? Уж не обокрал ли он меня»?

Оказалось, что Шишкин действительно обокрал Качегырова. В течении двух недель он не раз замечал, что Егор Семеныч вынимал из-под подушки и клал обратно какой-то сверток... Этот-то сверток и был украден. В нем лежало шесть сотенных билетов и около ста рублей мелких. Из этих денег Шишкин успел истратить только двадцать рублей, остальные у него были отобраны.

– Непременно донесет!.. – Эта мысль не выходила из головы Егора Семеныча весь следующий за убийством Шишкина день, и не давала ему покоя. К нему вошел Лука Миронов, один из тех трех мужиков, которые накануне были главными сторонниками Качегырова.

– Присиживать, Егор Семеныч!

– Добро жаловать, Лука Кузьмич!

Пришедший пытливо окинул Егора Семеныча своим хитрым взглядом и медленно опустился на лавку, причем взгляд его ясно говорил: «А у тебя, брат, на сердце-то, должно быть, кошки скребут... Ничего! Мужик-то ты справный... Замажешь...»

С минуту длилось молчание, потом Лука Кузьмич спросил:

– Ты ничего не слыхал, Егор Семеныч?

– Нет... А што?

– Утонул ведь... учитель-от...

– Што ты!.. Неужто?! – встрепенулся Егор Семеныч.

Миронов утвердительно кивнул головой.

– Он это отселева то – да прямо, видно, в Балашовку – сказал он... В полицу, стало быть, хотел... А малость низовичек начинал... Ну, конешно – хто поплавит?.. Онухриев и вызвался... Спиридон... До половины то оно ничего, ладно было, а потом как хватит, –лодку-то и двинуло!.. Ночь... темень!.. Што тут поделаешь? Прямо – смерть!.. Спиридон-от – ничего, выплыл, а он и теперь надо полагать, ныряет... Так и не нашли...

– Не сболтнул ли где?.. – словно про себя заметил Егор Семеныч.

– Ни!.. Обмолвки, значить, ни капельки... как есть...– успокоительно произнес Миронов. – Я уж вызнал...

В избу вошел еще один из вчерашних сторонников Качегырова Фома Гулимов, который также спешил сообщить уже известную новость. Случайная смерть учительствовавшего в выселке поселенца Астраканова, так напугавшего вчера опешивших перед трупом Шишкина мужиков неожиданно изменила все дело. Теперь уже некому было доносить о вчерашнем преступлении, следовательно, на этот счет вполне можно было успокоиться. Как бы угадав его мысль, Миронов заметил:

– А оно все-таки сумлительно...

– Што сумлительно? – спросил Егор Семеныч.

– Да я ничего... Вот Фома Омельяныч... Ты это как, Фома Омельяныч, про умолчание-то давича сказывал?

– Оно точно... писарь как-то – давненько уж – вычитывал: «О всяком таковом происшествии доносить... А за умолчание...» Тут я уж забыл, што он толковал... меры какие-то... «строго» – говорит – «преследовается...»

– Строго? – любопытствовал Миронов.

– «Убивство» – говорит – «строго, а умолчание – еще строже».

– Вот оно што!

– «Укрывательство» – говорит – «это...»

– Укрывательство?.. Вот видишь!..

– Самое, значит, важное преступленье...

– То-то и говорю – сумлительно... Оно как бы, и впрямь што не вышло?

Егор Семеныч положительно недоумевал. Он инстинктивно догадывался, более вследствие мимики Миронова и Гулимова, нежели по их словам, что они из вчерашнего дела хотят извлечь себе какую-то пользу. И он не ошибся.

– Ты уж не обессудь, Егор Семеныч, – наконец уже ясно заговорил Лука Кузьмич. А умолчание – дело сумлительное... Всяк себя бережет, значит... Тоже нам за умолчание-то не приходится последнего живота лишиться... Это уж ты как хошь... А нам... то-ись непременно донести следовает.

– Оно как же это... и на себя тоже, донесете? – немного насмешливо спросил Егор Семеныч.

– Как на себя?

– Да ведь вы тут же были.

– Оно ежели бы не были, так и не знали бы ничего... и доносить, значить, не об чем... Вот кабы мы шевелили, так оно, пожалуй, и на себя...

– Как же, вы говорите не шевелили?!

– Ей-богу, не шевелили... то-ись пальцем! – в один голос сказали Миронов и Гулимов.

– А-а!! – только и мог произнести Егор Семеныч, сообразивший, что они действительно могут отпереться.

– Ну, так приходится ли нам последнего-то живота лишиться?.. Нет уж ты как хошь, Егор Семеныч – либо заплати за умолчание, либо...

И Егор Семеныч заплатил... Но не одним только Миронову и Гулимову, а почти половине вчерашней толпы, из которой ни один человек «ей-богу не шевелил... то-ись пальцем!» Остальные молчали даром: они не смели...

III.

Прошло около двух лет. Об убийстве Шишкина в выселке, и думать забыли, как будто ничего подобного никогда и не случалось,

Был летний праздник. По улице, с песнями и беззаботным смехом хороводились парни и девки. У кабака толпились мужики. Все имело нарядный, праздничный вид. День был жаркий.

Егор Семеныч и Лука Кузьмич сидели за воротами, разговаривая о предстоящем урожае и о других домашних делах. На краю выселка показалась несущаяся во весь опор дорожная повозка: под дугою неистово звенели колокольчики. Ямщик то и дело погонял взмыленную тройку.

– Исправник, надо быть. – заметил Лука Кузьмич.

– Он! В слободу, видно.

Но Егор Семеныч ошибся. Исправник остановился против его ворот и, не выходя из повозки, спросил?

– А где тут живет Егор Качегыров? Дома он!

– Егор Качегыров?.. это, видно, я самый и буду, ваше благородие... II живу вот тут, – не без гордости указал Егор Семеныч на свой красивый домик.

Исправник и сидевший с ним секретарь вышли на дорогу.

– Где же тут барская квартира?

– Фатера-то?

– Ну, да?

– У нас нету фатеры, ваше благородие... мы фатеру не держим.

– Как не держите? Куда-же пристать-то, по-твоему?

– Пристать-то?

– Ну, да, конечно?

– А ты? ваше благородие, рази не в слободу?

– Нет... Да тебе какое дело? Тебя спрашивают, куда пристать? – выходил из себя исправник.

– А! пристать-то. Это можно... Оно хошь ко мне милости просим... А фатеру мы не держим... потому начальство к нам редко приезжает... А коли кто и приедет, так ко мне, али вот к Луке Кузьмичу во всякое время... и даже с большим удовольствием можно... А фатеры у нас нету. Это верно.

– Так, ты говоришь, Егор Качегыров – ты самый и есть? – спросил исправник. ,

– Я и есть самый... А тебе нашто, ваше благородие?

– Это уж мое дело

– А-а... Я, я самый.

– Гмм... Делать нечего... Хоть мне с тобой и не приходится хлеб-соль водить... Ну, да уж, видно, нечего делать... – как-то двусмысленно и с заметной иронией произнес исправник.

Егор Семеныч почувствовал себя не хорошо: у него словно что оборвалось, по спине побежали мурашки.

Исправника и секретаря он проводил в горницу.

Около повозки, окружа ее со всех сторон, собралась кучка любопытных. Один молодой парень насильно посадил в повозку какую-то девушку и во все горло захохотал.

– Ваше благородие, ваше благородие! – шутил он. – Ты что же это не при форме? Али ноне начальству бабья линия вышла? Ха-ха-ха! Вот так мундер!

Глядевшие на эту сцену смеялись чуть не до слез.

– Ну, и балагур, Прошка!

– Шутник, право!

Девушка силилась выпрыгнуть из повозки, но он не пускал ее.

– Вот чудно то, робя!.. Ха-ха-ха! исправникам сарафаны от царя вышли! Вот конфуз-от!.. Да у тебя, ваше благородие, и налетов ту нету... Н-ну, штука! Ни налетов, ни сашки! Сарафан да фартук! – не унимался Прошка. – Что ж ты это, ваше благородие, утружаешься самолично-то вылазить? Я сыму с кареты-то.

И он высадил девушку на дорогу.

– Вот, озорник-от! А! Мои матушки!

Изба Егора Семеныча была полна мужиков, собравшихся по зову исправника: кто на полу сидел, кто на лавке, кто стоял на ногах. Все молчали.

Лука Кузьмич позвал Егора Семеныча за перегородку, где они о чем-то долго шептались.

Между тем, в другой половине происходил следующий разговор!..

– Ну, не Колумб ли я, Сергей Иванович? Ведь эдакое-то дельце не хуже Америки, черт побери! А открыл вот! И как открыл! Артистически, можно сказать!.. Другой бы на экую-то дрянь плюнул; а я нет!.. Это – мол документик-с! Нет вы, Сергей Иванович, только вникните!..

– Правь, – говорю – вон туда, дальше!

А он:

– Позвольте, – говорит, – ваше благородье, на минуточку на берег выйти: эвон партаманет какой-то валяется.

– Ну, – говорю, – Выйди...

Подымает: точно, портмоне...

– Э, да и партаманет-то, – говорит – знакомый!

– Чей? – спрашиваю.

– А вот, – говорит, – ночью-то, в третьем годе, утонул... Астраканов... учителем был в Никольском...

Открываем: два с полтиной денег и какая-то докладная записка... – Не стоило, – думаю, – из лодки-то выходить... Однако, читаю... Нет, вы только вникните!.. Читаю... – Батюшки! Да это клад! – Сейчас же вернувшись, в полицию:

– Подайте, – говорю, – дело! Ну об этом... утонувшем-то...

– Представлено, – отвечают...

– Ах ты досада!

Беру настольный и на второй же странице: «Об утонувшем в ночь на 16-е августа 18\*\* года...» Читаю докладную записку: «Назад тому полчаса, аки Христос на кресте замучен...» Гляжу, которым числом написана: «16-го августа 18\*\* года...» – Верно! – думаю. В ту же ночь!.. – Нет, вы вникните! Сейчас же плыву в предместье...

– Кто, – спрашиваю, – переправлял через реку Астраканова, который еще утонул тогда?

– Это в третьем-то годе?

– Ну, да?

– Спиридон Онухриев.

– Позвать!

Является Онуфриев.

– Ты переправлял такого-то?

– Я.

– Откуда ты его взял?

– Сам пришел.

– Был он у тебя дома?

– Был.

– Что он говорил?

– Ничего.

– Как ничего?

– Просил только переплавить, а больше ничего.

– Что он у тебя делал?

– Писал.

– Что писал?

– Не знаю.

– Как не знаешь?

– Он не сказывал.

– А ты спрашивал?

– Спрашивал.

– Что он тебе ответил?

– Ничего.

– Как ничего?

– Завтра, говорит, узнаешь.

– А больше ничего не говорил?

– Ничего.

– Да ты путем рассказывай! Неужели он все молчал?

– Молчал.

– Как молчал?

– Так молчал.

– Врешь?

– Верно говорю, молчал: он об чем-то все думал, у ево слова не можно было вышибить...

– Да ты говори правду!

А сам все на его физию гляжу: не врет ли?.. Нет, не врет... Уж видно, что сущую правду выкладывает... Ну, думаю, значит об убийстве Шишкина теперь знают одни только убийцы: был один доказчик – да и тот утонул, никому не проболтавшись. Стало быть, дело это, за приличное вознаграждение, можно и прикрыть, или, вернее, не открывать, и, за отсутствием доказателей, пребывать в полнейшей уверенности, что наверх оно никогда не выплывет...

– А этот гусь, должно быть, живет в свое удовольствие, – сразу оборвал секретарь, намекая словом «гусь» на Егора Качегырова. – У него, говорит, тысяч десять в банке обретается!

– Ну, н шельма же ты, Константин Петрович – тянутая! – одобрительно произнес исправник.

– Гмм... Такие ли делишки обделывали! Можно поживиться! – уверенно сказал секретарь. Дело хлебное!

– Д-да-с, недурно... очень недурно...

– И чистенько обделать можно!

– Оборудуем! – подмигнул исправник.

– Комар носу не подточит! – добавил секретарь.

– Д-да-с, дело хлебное... Очень недурно.

Оба замолчали. Исправник остановился посредине комнаты, упершись в бок левою рукой и глядя на ногти правой; едва уловимая улыбка почти не сходила с губ его; блестящие глаза выражали жадность. Он заранее предвкушал удовольствие близкого удовлетворения этой жадности. Секретарь сидел у стола, сияя от счастья, что ему удалось «открыть такое хлебное дельце...» В комнату, по приказу исправника, вошел бледный Егор Семеныч. Картина изменилась: насупив брови и сердито пыхтя, исправник стал ходить из угла в угол; секретарь принял будничный вид. Эго своего рода дипломатические тонкости по части полицейской... С минуту молчание не нарушалось. Первый заговорил исправник

– Н-ну-с, Качегыров, дело, брат, ясное... Тебя ждет тюрьма... лишение прав... вечная каторга!.. – произнес он внятно и с расстановками, методически отчеканивая каждое слово.

– Ваше благородие! – взмолился Егор Семеныч – Пожалей, кормилец... не губи! Вызволь... для малых детей!.. Моя причина – точно... не буду греха таить... Такой уж случай выпал... безвременье... Што поделаешь!.. Пожалей, кормилец!.. А уж я тебя ублаготворю... – и, понизив голос, добавил: – Возьми тыщенку...

– Пять! – лаконически отрезал исправник, повертываясь на каблуках.

– Силы не хватит, кормилец... Скинь две-то хошь – безнадежно защищался Егор Семеныч.

– Пять! – таким тоном повторил исправник, что возражать было бы бесполезно.

– Тяжеленько оно... да уж, видно ништо не поделаешь... – упавшим голосом произнес Качегыров.

– Ну, теперь пошли сюда Луку Миронова, – приказал исправник.

Егор Семеныч вышел.

– Клюет! – торжествовал секретарь, широко улыбаясь.

– И хороню клюет! – заметил исправник.

Вошел Миронов.

– Ты был у Качегырова в день убийства Шишкина?

– Был.

– Знал об этом убийстве?

– Знал.

– За умолчание взял двести рублей?

– Взял.

– Четыреста... или в тюрьму!.. – Словно обухом по голове ошеломил исправник. – Выбирай!.. – и, не давая времени опомниться, приказал Миронову выйти.

По уходе Луки Кузьмича, место его занял Вавило Бараткин, маленький смуглый человечек, с небольшим клочком черных волос, комично торчавшим под нижнею губой.

– Как твоя фамилия?

– Моя-то?

– Ну?.. Как ты прозываешься?

– Я-то – Барадкин.

– Ты знал... как это тут Шишкина-то?..

– Шишкина-то?

– Ну, да?

– Знал. Это верно. Как не знать Шишкина!

– Нет, про убийство-то знал ли ты? Вот об чем я тебя спрашиваю.

– Про убийство-то? Знал. Как не знать!

– Сам был при этом?

– Был. Это верно.

– А за умолчание взял сто рублей?

– За умолчание? Точно – виноват!

– Тащи двести!..

– Оно... то-ись это как же?

– Ну – иди!.. Сказано слово...

Перебрав таким образом всех поживившихся «за умолчание» и долженствовавших теперь возвратить вдвое, счастливый исправник собирался в обратный путь, не забыв обязать Егора Семеныча немедленно представить все деньги.

После отъезда исправника Качегыров и Миронов долго сидели молча. Наконец Лука Кузьмич не выдержал.

– Вот оно што значит – за умолчание-то! – обратился он к Егору Семенычу. А кабы умолчания-то не было, оно бы и тебе, пожалуй, сходнее обошлось... Вот ты и знай!.. Выходит, что с умолчанием-то оно не в пример сумлительнее...

– Дороже... – поправил Егор Семеныч, сердито нахмурившись, и – только почесал в затылке...

*1889*

**К уроку 14. Петр Реутский.**

**«Повесть о Вампилове».**

**Петр РЕУТСКИЙ**

**ПОВЕСТЬ О ВАМПИЛОВЕ (Фрагмент)**

*Я написал это по неоднократной просьбе Анастасии Прокопьевны, матери Вампилова, его сестры Гали и брата Михаила.*

**ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА**

Вспоминайте меня весело,

Словом, так, каким я был.

Что ты, ива, ветви свесила,

Или я недолюбил?

Не хочу, чтоб грустным помнила.

Много песен дорогих,

Только песни, ветра полные,

Мне дороже всех других.

По земле ходил я в радости,

Я любил ее как Бог,

И никто мне в этой малости

Отказать уже не мог.

Все мое со мной останется –

И со мной, и на земле.

У кого-то сердце ранится

На моем родном селе.

Будут весны, будут зимы ли –

Запевайте песнь мою.

Только я, мои любимые,

С вами больше не спою.

Что ты, ива, ветви свесила,

Или я недолюбил?

Вспоминайте меня весело,

Словом, так, каким я был.

Иркутский университет покорил Вампилова своей историей. Стоит он у Ангары, наверное, самой чистой в те времена реки. Берег ее здесь покрыт старинным садом, и почти ровесник городу. Когда выходишь из университета, сразу попадаешь в тенистые аллеи и укромные местечки.

На углу основной улицы города и вузовской набережной, теперь бульвара Гагарина, – здание исторического музея, через дом от университета, похожее на средневековую крепость из красного кирпича, с зубчатыми стенами, башенками и загадочными оконцами, в одном из которых, кажется, вот-вот появится круглая головка восточной красавицы.

Саня часто останавливался у этого здания, подолгу разглядывал его, читая в нишах под карнизом имена известных всему миру исследователей Сибири.

В парке, напротив музея, есть памятник первопроходцам. Тогда он еще был изуродован нелепым шпилем из бетона, несоответствующим ни замыслом, ни фактурой всему окружающему его.

Памятник обнесен чугунными столбиками, соединенными черными цепями.

Здесь Саня любил прогуляться, посидеть на скамейке, мечтая о будущем или совсем близком, и уже потом, когда он осмелел и по праву стал иркутянином, назначал в этом месте девушкам встречу.

Играя в гусарство, он, шутя, говорил им, ошарашенным: «Я ангажирую вас на гандеву». При этом улыбался, чтоб не понявшие фразу не сочли его за иностранца.

Сам того не замечая, Вампилов часто разыгрывал импровизированные сцены, увлекая в этот прогулочный спектакль своих товарищей и прохожих.

Делал он это с тонким юмором и так мило, что незнакомые люди или отвечали ему шуткой, или включались в спектакль.

На другом углу, напротив музея, возвышается белоколонный дворец научной библиотеки университета. Иркутяне называют его по-своему: «Белым домом». Святая святых для каждого студента. Сколько счастливых вечеров провел Вампилов в стенах храма науки. Напротив этого дома, бывшего когда-то резиденцией губернатора, тянется все тот же изумительный сад.

В дни нашей молодости сад был красиво дополнен чугунной оградой, удачно сочетавшейся с ветвями различных деревьев, привезенных из разных краев земли. Особенно мне запомнились японские лиственницы, акации, персидская сирень, обыгранная потом в рассказе Вампилова, и очень высокие тополя.

Но когда приходит охота ломать, то ломают все, и красивое в первую очередь, ибо оно больше, чем что-либо напоминает нам о классовом неравенстве. И эту дивную чугунную ограду, подлинное произведение искусства, куда-то свезли, а может, хуже того, переплавили. Сад будто раздели.

Помню, как Сашу влекла к себе Ангара. Бывало соберутся парни на берегу, и начинаются любимые игры подростков: кто больше «напечет блинов» или дальше камешек бросит. Саня возвращался к этому всегда, и будучи уже известным писателем. Присядет, бывало, на корточки, внимательно разглядывая каждую плиточку, и наберет их целую горсть.

Бросал он камешки с каким-то колдовским ритуалом: попрыгает сначала на одной ноге, потом окрутнется, подскочит и, выкинув правую руку вперед, присядет опять – уже от сознания того, что бросок удался.

Дальше всех, помнится, иногда кидал только Вовка Жемчужников. Но это будет позднее, когда он приедет в наш город из Свердловска. А на «блины» Саша был щедр, как никто другой.

От берега Ангары Вампилов шел все по той же улице еще к одной достопримечательности города – драматическому театру.

Здесь он замирал от восторга и становился совсем другим человеком: прохожие и девушки больше не занимали его. Он весь отдавался мечте о театре. То он был драматургом, то режиссером, то актером, а то и зрителем. Театра, как такового, и особенно его законов, юный Вампилов совсем не знал. Даже телевидение в его детстве было ближе к фантастике, нежели к действительности. Иногда Саня смотрел в своем поселке Черемховский драматический театр, гордость сибирских шахтеров. Город Черемхово стоит недалеко от Кутулика, небольшого поселка, где жила в то время семья Вампиловых.

Ребята росли без отца с того самого тридцать седьмого, в котором родился мальчик, названный в честь Пушкина.

В Черемхово Саша вообще бывал. Туда можно добраться на попутной машине, или товарняком по железной дороге. Правда, последний вариант не всегда благополучно заканчивался. Однажды собрался Саша в город шахтеров перед самым началом учебного года, посмотреть кое-что в книжном магазине. Влез в тамбур вагона, где обычно находятся сопровождающие груз дяди в тулупах, и поехал.

Перед самым городом поезд развил такую скорость, что даже каскадер не отчаялся бы спрыгнуть на ходу.

Так и ехал Саня до Иркутска-Сортировочного. А там и того хуже: засекли его железнодорожники, два добрых бугая, и начали требовать штраф. Саня взмолился, глядя в их сизые лица.

– Я вам честно говорю, что со мной это впервые. Может простите...

Они придвинулись вплотную. Не драться же с ними. Попробовал убежать, но мужики были еще прыткими. Пришлось отдать все, что у него было припасено на книги.

– А как думаешь обратно добираться? – спросил один из них, посмотрев в печальные глаза черноголового паренька. – На вот тебе сдачу. И он сунул ему трешку.

– А ты, дядя, не без юмора, – усмехнулся Саша. А на уме у него вертелась совсем другая фраза: «Пахать бы на вас хорошо».

– Давай, валяй! А то пешком пойдешь.

Кутуликские неоднократно играли с черемховскими в футбол, и Саня слыл завсегдатаем этих матчей, сначала как маленький болельщик, а потом и как смелый нападающий юношеской команды. Сейчас мимо стадиона, где он играл в те годы, проходит улица Вампилова.

Черемховский театр среди подобных ему в России был не в последнем ряду. В свое время там работали интересные режиссеры Шатров и Буторин, а позднее талантливый художник Юрий Суракевич, макеты которого теперь знают многие сцены областных театров страны, где он оформлял спектакли по приглашению.

Вампилов редко говорил о Черемховском театре, но вспоминал о нем как о первом профессиональном, который познакомил его с пьесами Островского, Толстого и Чехова. Естественно, там шли пьесы и советских авторов, но самым любимым для Вампилова был Антон Чехов.

У меня до сих пор хранится маленькая книжка в двадцать страниц, подаренная Вампиловым. На обложке нарисована «жалобная книга», а из нее торчат всякие морды. Над названием – факсимиле: «А. Чехов».

Иногда Саня позволял себе обнародовать отдельные строки из этого шедевра. Например: «Милостивый государь! Проба пера?! Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я – морда твоя».

Саша Вампилов во многом пошел от Чехова и в своих первых рассказах, и в драматургии.

Из поэтов Саня знал наизусть Александра Блока. По поводу стихов Маяковского мы часто с ним спорили, особенно в первые годы знакомства.

Острыми фразами из Чехова Саня удачно пересыпал свою речь. Чувствовалось, что Антона Павловича он обожает.

Сидя на лавочке в тени высоких и густых акаций, в стороне от центрального входа в театр, Вампилов изучал людей, идущих на спектакль. Он делал это неоднократно и позднее, посмотрев на афишу, мог угадать, какая публика в большинстве своем будет сегодня.

Он узнавал актеров, шествующих в театр минут за десять до зрителя. Вот идет Народная артистка Советского Союза Галина Крамова, в том же звании Аркадий Тишин, а вот лауреат Государственной премии Василий Лещев.

Их он видел в клубе своего поселка, где они бывали с выездными спектаклями или просто встречались со зрителями.

На спектакли Саня старался попасть непременно, хотя у него не всегда были деньги. Их было тогда трое у матери, Анастасии Прокопьевны. Когда старший Миша поступит в горный институт, а сестра Галя в педагогический, Саше не легче будет от того с мамой, потому как студентам надо было помогать, несмотря на то, что они регулярно получали стипендии.

Дождавшись, когда последний из опаздывающих скрывался за дверью театра, Вампилов шел по улице Пятой Армии в общежитие университета, которое стояло напротив еще одного любопытного домика, привлекавшего студента-филолога. На его высокой двери, скрываемой ветвистым тополем, висела небольшая прямоугольная доска со словами «Иркутская писательская организация».

Саня не сразу насмелился открыть заветную дверь и, прежде чем это сделать, несколько дней изучал редких посетителей творческой организации.

Иногда он взад-вперед ходил мимо двери, изображал безучастного прохожего, а сам смотрел в лица людей, направлявшихся к этому дому. И однажды увидел знакомого – шел поэт Марк Сергеев, приезжавший к ним в школу. Марк учтиво раскрыл перед ним дверь, но Саня, еще больше смутившись, сказал, что ему не туда.

Он еще долго не откроет высокую дверь, считая, что пока не имеет на это право.

Саня входил в литературу робко, потому что был скромным и совестливым парнем. У современной молодежи эти понятия вызывают недоумение, а в то время это замечалось за многими нами. Помню, как мы впервые пришли в Дом писателей с Львом Кукуевым. Он был на войне сапером. Где уж смелых искать, как не среди них, и все равно мы с ним робели, и я прятался за его спину. Но тогда Союзом руководил необыкновенной души человек Иван Иванович Молчанов-Сибирский. Он всех робких выручал, и нас тоже сразу приветил. Когда мы вошли, Молчанов поднялся во весь свой богатырский рост, вышел к нам из-за стола и, приблизившись, поздоровался с каждым за руку. Сразу все стало на свои места, как будто мы давно были знакомы.

Вампилов вошел в стены Союза писателей осенью 1958 года, а Молчанов умер первого апреля.

Сначала Саша осмелился открыть дверь в редакцию газеты. Туда может прийти каждый, даже человек, не умеющий писать вообще.

Первой газетой, конечно же, стала университетская многотиражка. Ее редактировал тогда добрый и умный человек красивой наружности Юрий Шервашидзе, позднее очень популярный лектор.

Я в то время работал в газете Иркутского района. Редакция находилась в самом городе.

Получилось так, что сначала макетировали внутренние полосы, а первая и четвертая задерживались.

В час дня, когда все разбежались обедать, в большую комнату на втором этаже неслышно вошел цыганистый парень. Это как-то насторожило меня: через дорогу находился рынок, и случалось, что в редакцию заруливали подгулявшие мужики выяснить какой-нибудь вопрос или выразить свое недовольство администрацией рынка. Смотрю, нет. Парень один и трезв.

– Вы не редактор, случайно? – спросил он не то с усмешкой, не то с улыбкой.

Пытаясь скаламбурить, я ему ответил, что случайно редакторов не назначают.

– Мне не обязательно редактора.

– Все на обеде, – изучаю его, – время.

– Извините, у меня нет часов. Санин. Александр.

– Вчера в «Молодежке»... – начал было я.

– Да, это мой рассказ, – объясняет Вампилов. – Я вас узнал.

Не сразу понял, но не расспрашиваю. Садимся на диван. Чувствую, что он немного робеет. Но я и сам робею, рядом со мной студент университета, а у меня за спиной нерегулярных семь классов. Правда, я уже член Союза писателей СССР и только что вернулся со Смоленского семинара русских поэтов, который окрылил меня.

Саня располагал к себе, и я быстро перешел на «ты», поняв, как намного он моложе. Студент держался застенчиво, но с чувством достоинства.

– У меня завелось несколько рассказов, – говорит он и тут же, решив, что слишком смело заявляет о себе, через небольшую паузу добавляет: – На выбор, конечно.

– Давай посмотрим, – беру у него сверток.

Напечатано не очень аккуратно, наверное, он сам отстукал рассказы одним пальцем на какой-нибудь завалящей машинке.

Мне захотелось взглянуть, но, вспомнив заповедь, которую сам придумал: никогда не читать рукопись в присутствии автора, положил рассказы на стол.

– Посмотрю потом...

Это ему не понравилось. Не то улыбнувшись, не то усмехнувшись, он встал.

– Ну, тогда я пойду, – и не дав мне возможности что-нибудь вставить, попрощался.

– Зайди через пару дней, – послал я ему вслед всегда дежурившую в редакции фразу. Он был уже по ту сторону двери, но что-то там буркнул.

Сажусь за чтение. Верхними в небольшой стопке листов оказались страницы с рассказом «На скамейке».

Наверное, Вампилов и хотел предложить его первым. Начав читать, сразу отменю для себя, что рассказ-то летний. За окном самое что ни на есть лето, когда нет еще ни одного подточенного листочка, но уже летит тополиный пух, как пороша.

Я машинально взглянул на часы – обеденный перерыв кончился, и, дочитывая страницу, стал подниматься на третий этаж в кабинет редактора.

– Их нет, – сказала Валя-машинистка, сдобная, словно только что испеченная булочка и приятная до откровенного воздыхания мужчин.

Под словом «их» она имела в виду редактора Боброва и его заместителя.

– Они на активе. Скажи, Петя, сегодня ты дежуришь по газете?

Валя обольстительно улыбнулась, сама того не замечая, и я невольно присел на стул напротив нее.

– Да, Валя. А что?

– Если у тебя все готово, – начала она, зная о том, что нравится мне, – то я хотела бы уйти пораньше. А зачем тебе редактор?

– Да вот, рассказ...

– А про что?

– Про любовь.

– Иди ты, – и она вся покрылась румяной корочкой, – покажи...

Протягиваю ей рукопись, с радостью понимая, что могу минут пятнадцать смотреть на нее. Но она читала быстрее меня.

– Ой, как здорово! – заключила Валя, еще больше подрумянившись. – Только что это за фамилии такие: Вирусов и Штучкин?

– Рассказ, Валя, юмористический.

– Да? А мне что-то не смешно. Мне их жалко, этих парней.

– Грустный юмор тоже бывает.

– Ты хочешь его напечатать? – участливо спросила она. – Надо было на воскресенье поставить.

– Да. Но рассказ только что принесли.

Валя спросила про автора. Тогда это случалось так редко, чтобы автор рассказа, да еще хорошего, был молодым человеком. Валя тут же пожелала с ним познакомиться.

– Он уже ушел, – сообщаю ей. – А рассказ я ставлю в номер, и будет он называться «Девушка на скамейке».

– Ты с ума сошел! – напугалась Валя. – Рассказ! Газета уже готова, или ты хочешь до ночи возиться?

Утром в понедельник я был приглашен на старый ковер, который лежал перед столом редактора Боброва.

– Слушай, ты, член СП! – со злой усмешкой почти заорал редактор, чем удивил меня, потому как отношения у нас с ним были самые добрые. – Ты, наверное, считаешь теперь себя выше всех нас. Конечно, ни в одной редакции, даже областной, нет члена СП. Но тогда, может, ты и газету будешь подписывать? Кто дал тебе право снимать что-либо с полосы после того, как я подписал в печать?

– Но четвертая полоса была с окном, – начал я оправдываться. – И потом, вас же никого не было...

– Газета была готова, – не остывал редактор. – Оставалось найти любую тассовскую фитюлю на сотню строк, их вон полная тумбочка, а ты перекроил всю полосу.

– Я хотел порадовать читателя, думаю, что это людям понравилось.

– Ты что, успел уже провести опрос? Кому понравилось?

– Вале, например, – сказал я, показывая глазами на стенку, за которой сидела машинистка.

Бобров машинально нажал на кнопку. Незамедлительно впорхнула Валя в платье, цветущем крупными бутонами. У редактора расширились ноздри.

– Валя! Вы читали в нашей газете... – от волнения у него перехватило дыхание, он взял пустой графин.

Валя развернулась, шурша шелками, и мигом появилась со свежей водой в стакане. От ее быстрого движения по комнате распространился головокружительный аромат. Редактор залпом осушил стакан и взялся за сердце. Наконец он выговорил слово «рассказ».

– Мне очень понравился, – сияя, сказала девушка, – и я посоветовала...

– О-о-о! – простонал Бобров и загадочно покраснел.

Машинистка вылетела. Бобров молчал.

– Где продолжение? – спросил он, не глядя на меня.

– В типографии, – ответил я.

Редактор объявил мне «строгий» выговор пока без занесения в личное дело.

– Ты снял с полосы официальный тассовский материал, и за это в «энное» время шел бы уже этапом, хотя тебе не привыкать, извини, старик. Кстати, в «Молодежке» за тринадцатое июня...

– Да, это его рассказ, – подсказываю редактору.

– Не мельтеши. Способный парень, – подводит он итог нашему разговору. – Ставь продолжение.

Я зашел к Вале и поблагодарил ее за то, что она спасла меня от выговора «с занесением».

Вампилов, конечно же, не ожидал такого быстрого исхода дела, но газету не допустил, и когда в следующем номере появилось продолжение, он пришел опять в ту комнату, где мы с ним познакомились.

Летом сотрудники, как бы наверстывая упущенное зимой, разъезжались по колхозам и рабочим поселкам. К нашему же району относились и некоторые надменные пункты Байкала, но туда ездили в командировку только редактор и его заместитель. Омуль любили.

В редакции опять, кроме меня, ни души. Саня вошел неслышно, как прирожденный охотник, я оторвался от бумаги, когда он продекламировал: «Честь имею приветствовать вас!»

Это было смелее, чем в первый раз. Помню на нем легкую клетчатую куртку, какие шили сами матери по бедности после войны. В руках Саня опять что-то держал, завернутое в газету, но явно не рукопись. Это «что-то» он перекладывал с руки на руку, как молодой неопытный отец ребенка, потом взял под мышку и куклил его, пока оно не приобрело очертания бутылки шампанского. Я участливо сказал ему: Что ты с нею маешься? Поставь под стол».

Сворачиваю свои дела, и мы идем ко мне домой. Жена Ася встретила нас радушно, в ту бытность еще не так часто приходили местные знаменитости. Они познакомились. Я сказал, что Саша пишет юмористические рассказы.

– Да? – удивилась Ася. – Я думала, вы поэт.

– Почему? – насмелился он спросить.

– Это вам больше подходит, – решила она, имея в виду его кудрявую шевелюру: небрежно спадающие на лоб черные кольца.

Саня смутился, почувствовал себя неловко.

– Внешность бывает обманчива, – выдавил он банальную фразу. Потом, мгновенно собравшись и опять же не то усмехнувшись, не то улыбнувшись, ссудил мне комплимент: – Рядом с вашим супругом трудно быть пиитом.

Жена, студентка педагогического института, тоже филолог. Смотрю, они уже влеклись общим разговором.

Саня часто поглядывал на гитару.

– Играешь? – спросил я.

– Учусь, – поскромничал он.

– Ну давай, попробуй.

Он взял инструмент и долго на что-то настраивался.

Пришла знакомая жены Светлана Щ. Она тоже выпила шампанского, и мы все млели: «Эх, загулял, загулял, загулял! Парень молодой, молодой. В красной рубашоночке, ха-арошенький такой». Это была одна из любимых песен Сани.

– В тебе, наверное, цыганская кровь? – спросила Света с добродушной улыбкой.

– Кровь – нет! Но душа, может быть, и цыганская.

Еще Света заметила, что он похож на Асю.

– Я сначала подумала, что Саша твой брат, но потом вспомнила, что ты у мамы одна.

– Я бы не против иметь такого брата.

Засиделись до полуночи, и я пошел провожать Свету, жила она в нескольких минутах ходьбы от нашего дома.

В наступившее воскресенье Саня появился утром. Жена собралась с маленьким Димкой в детский парк на прогулку. Сейчас там Вечный огонь и мемориал памяти павшим в Великую Отечественную.

Саня пригласил нас к себе, Ася вежливо отказалась, и мы поехали с ним вдвоем.

Помню старенький дом с высоким покосившимся крыльцом на 2-й Железнодорожной и маленькую комнату, в которой всю утварь составляли кровать, тумбочка и табурет. На простенке у окна слева – полка с книгами, а на той стене, что напротив кровати, испуганно прижавшаяся гитара, напомнившая мне княжну Тараканову на одной из картин.

Я был счастливо ошеломлен встретившей нас хозяйкой неописуемой красоты. Она оказалась очень застенчивой и постоянно розовела, когда я, забываясь, смотрел на нее. Это приводило в неловкость и самого хозяина. Он тоже терялся, будто стыдясь за то, что имеет такое сокровище, и только изредка тихо произносил: «Ну, Петр Иванович!» Дескать, не смущай.

Обедали мы в малюсенькой кухонке, вернее сказать, в подслеповатом закутке, где у скромного оконца стоял расхлябистый стол, придвинутый вровень к подоконнику.

Старушка, у которой квартировали молодожены, видимо была напугана «важным» гостем и все делала молча, стыдясь своей бедности.

Люся тоже стеснялась, и пока еще кроме «Здравствуйте!» я ничего от нее не слышал. Оттого, что все они были скованы моим присутствием, я чувствовал какую-то неловкость.

На столе шкварчала глазунья, посыпанная зеленым луком, и дымилась картошка. Хлеб лежал в деревянном судке, выдолбленном из доски. Все три прибора, поставленные бабкой – тарелки, вилки, ложки и кружки, – были разными по цвету и форме.

Сама хозяйка дома, одетая в домашний ситцевый халат с накинутым на плечи легким платком с поблеклыми цветами, не села за стол, ссылаясь на занятость.

Саня начал ее уговаривать, но она еще больше стушевалась и все время опускала голову, стыдясь показать беззубый рот.

После обеда пошли в сад напротив. Он, как и улица, назывался тогда сад Железнодорожников.

Люся по-прежнему молчала, но это нисколько не огорчало меня. Ей просто было к лицу это молчание, хотя Саня иногда беспокоился: «Ну что ты онемела?»

Пройдя через парк, спустились по улице Маяковского к мосту. Возле него вода почти всегда одинакова – темно-зеленая, с пятнами ночной синевы, потому что в этом месте большая глубина. А чуть выше, у Конских островов, цвет воды меняется на глазах. Каждое облачко или туча дают ей свой оттенок. А вообще, цвет воды зависит от ее чистоты и содержания дна: что там лежит.

Вампилов смотрел вниз, опершись на перила, а мы с Люсей вдаль.

– Петр Иванович, – тихо спросил Саня, – тебя не тянет вода?

– Нет, знаешь ли. Я не умею плавать.

– Почему? – спросил Саня, как будто уметь плавать было такой же обязанностью, как служить в армии.

– Я рос в тайге, близ города Алдана, – прочел я.

– Знаю эти стихи, – заулыбался Саня.

– Река Алдан, – поясняю для Люси, – была от нас в ста километрах. А на прииске только холодные ключи. В них руку-то больше минуты не продержишь.

– Надо уметь плавать, – задумчиво сказал он. – А меня вода всегда тянет. Вообще-то, я мог бы прыгнуть отсюда, но Люся напугается до смерти.

Она побелела, будто представила все это, и отошла от перил.

Он еще постоял несколько минут и потом весело произнес:

– Освою рыбалку, по-моему, это занятие молчаливых.

И тут Люся неожиданно расхохоталась, чисто и до слез, как ребенок.

Потом мы не встречались с Вампиловым, я всегда уезжал летом на два-три месяца в Выдрино к родителям, а двадцать восьмого августа 1958 года я улетел в Москву на Высшие литературные курсы, куда меня рекомендовал тот самый Смоленский семинар русских поэтов, о котором я уже упоминал.

**Для самостоятельного чтения:**

**Александр Вампилов. «Шаткая калитка».**

**Александр ВАМПИЛОВ**

**ШАТКАЯ КАЛИТКА**

Шаткая калитка

В стареньком плетне,

Всем она открыта,

Но уже не мне.

Прохожу я мимо,

Загляжусь слегка.

Под окном черемух

Белых облака.

Не пойду я ближе,

Постою я тут.

Там меня забыли,

Там меня не ждут.

Разнята калитка

Не моей рукой,

И уходит в полночь

Уж не я – другой.

Помню, я калитку

Тихо затворял.

Ласковое имя

Тихо повторял.

Не пойду я мимо,

Загляжусь слегка.

Под окном черемух

Белых облака.

Не зайду я больше

В их густой приют.

Там меня забыли,

Там меня не ждут.

**К уроку 15.**

**Александр Вампилов. «Дом окнами в поле».**

**Александр ВАМПИЛОВ**

**ДОМ ОКНАМИ В ПОЛЕ**

*Комедия в одном действии*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

АСТАФЬЕВА – заведующая молочной фермой.

ТРЕТЬЯКОВ – учитель.

ХОР за сценой.

*Занавес открывается, и мы видим большую опрятную комнату – печь, стол, скамью. На лавке букет июньских цветов, на стене ковер с изображением оленей. Здесь же несколько цветных фотографий из журнала «Огонек». Входная дверь слева, справа – дверь в спальню, прямо – два окна. У входной двери висит белый халат. Обстановка говорит о том, что в этом доме живет одинокая женщина. На дворе сумерки. Астафьева появляется из спальни с бельем в руках. Задержалась у окна, подошла к столу, включила утюг. Астафьевой двадцать шесть лет, это привлекательная женщина. Перебирая белье, она с некоторой грустью задерживает в руках рубашку. Думает в это время, вероятно, о том, что время, в сущности, летит так быстро. Вдруг выключила утюг, быстро подошла к окну. Наблюдает, ждет, взволнована. Вот – увидела. Бросилась в спальню, вернулась, включила утюг, принялась гладить. В эту минуту раздается стук в дверь.*

АСТАФЬЕВА. Да-да! Пожалуйста!

*Входит Третьяков, двадцати восьми лет. Симпатичен, толстоват и медлителен. Он с чемоданом, настроение у него растерянно-элегическое.*

ТРЕТЬЯКОВ. Добрый вечер, Лидия Васильевна!

АСТАФЬЕВА. Добрый вечер, Владимир Александрович.

ТРЕТЬЯКОВ. Вот... Зашел, так сказать, откланяться...

АСТАФЬЕВА. А я думала, чего доброго, не попрощавшись уедете.

ТРЕТЬЯКОВ. Ну что вы, как можно! Я с чемоданом с самого обеда. Обошел всю бригаду...

АСТАФЬЕВА. Ко всем, значит, зашли... Устали?..

ТРЕТЬЯКОВ. Знаете, устал.

АСТАФЬЕВА. Устали... А тут еще к Астафьевой надо зайти. Вежливый вы, Владимир Александрович, через вежливость и страдаете...

ТРЕТЬЯКОВ. Нет, всех хотел видеть... Три года – все-таки не шуточки. Три года... И знаете, только сегодня, вдень отъезда, вдруг выясняется, что меня здесь все любят!

АСТАФЬЕВА. А почему бы вас, Владимир Александрович, не любить?..

ТРЕТЬЯКОВ. Второгодники, оказывается, и те меня любят! Очень трогательно.

АСТАФЬЕВА. А что, вы хороший были преподаватель...

ТРЕТЬЯКОВ. Говорят, чтобы добиться признания, надо умереть. Не обязательно. Можно просто уехать...

АСТАФЬЕВА. Хороший вы были преподаватель... Вот только чуткости вы мало проявляли и активности...

ТРЕТЬЯКОВ. Откуда у меня активность, если я меланхолик?

АСТАФЬЕВА. Самодеятельность бы подняли, раз меланхолик...

ТРЕТЬЯКОВ. Меланхолики ничего не поднимают. Им и так трудно... (Садится.) Через полчаса уходит автобус.

АСТАФЬЕВА. Спасибо, что зашли... Уважили.

ТРЕТЬЯКОВ. Лидия Васильевна, разве я мог уехать, не повидавшись с вами?! К вам – последний визит. Для памяти...

АСТАФЬЕВА. Дом мой последний стоит. По пути...

*На улице возникла песня. Она медленно приближается.*

ТРЕТЬЯКОВ. Да... Дом ваш последний. В хорошем он месте! Окнами в поле. И в лес. Уеду и буду вам завидовать.

АСТАФЬЕВА. Спасибо и на этом...

ТРЕТЬЯКОВ. Вы, конечно, замечали, что я был к вам неравнодушен. Да, да! Да и вы, Лидия Васильевна... Скажете – нет? Помните май! Все могло быть по-другому... Ничего не было... Даже грустно. Вам не грустно?

АСТАФЬЕВА. К чему это вы говорите?..

ТРЕТЬЯКОВ. Я уезжаю, могу я быть откровенным?

*Песня совсем рядом.*

АСТАФЬЕВА. Я помню май... Вы веселый были... Никогда я вас таким больше не видела.

ТРЕТЬЯКОВ. Лидия Васильевна, скажите откровенно, на прощание – что было бы, если бы я тогда сел в ваш ходок?

АСТАФЬЕВА. Что ж... ничего. Поехали бы вместе...

ТРЕТЬЯКОВ. Да... Я так и думал.

АСТАФЬЕВА. Я май хорошо помню... Вы пели, у вас ведь голос хороший, никогда бы не подумала...

ТРЕТЬЯКОВ *(засобирался).* Нет у меня никакого голоса... Пойду, Лидия Васильевна, я житель городской и не могу петь без аккомпанемента...

АСТАФЬЕВА. А из леса тогда мы за вами следом ехали... Вы видели?..

ТРЕТЬЯКОВ. Да, да... Будем вспоминать...

АСТАФЬЕВА. А я думала, вы к нам в ходок сядете...

*Хор останавливается под окном. Хорошо слышна мелодия, но слов не разобрать.*

ТРЕТЬЯКОВ. Так вот... Прощайте, Лидия Васильевна! Я думаю, мы еще встретимся. Мир тесен...

*Подают друг другу руки.*

Где-нибудь, когда-нибудь... Счастливо оставаться... *(Отворил дверь.)*

*Песня – громко.*

ХОР. Несет Галя воду,

Коромысло гнется,

Стоит Ваня подле

Над Галей смеется...

АСТАФЬЕВА *(вдруг).* Постойте!

ТРЕТЬЯКОВ *(прикрыл дверь).* Да?

*Слышна лишь мелодия.*

АСТАФЬЕВА *(решительно).* Я вас не пущу.

ТРЕТЬЯКОВ. В чем дело?..

АСТАФЬЕВА *(лукавит с большим искусством).* Сейчас я вас не пущу.

ТРЕТЬЯКОВ. Почему, Лидия Васильевна?

АСТАФЬЕВА. Слышите?

ТРЕТЬЯКОВ. Что?

АСТАФЬЕВА. Они остановились под окном.

ТРЕТЬЯКОВ. Кто?

АСТАФЬЕВА. Вы что, не слышите?

ТРЕТЬЯКОВ. Поют. Ну и пусть...

АСТАФЬЕВА. Садитесь, Владимир Александрович, послушаем... *(Приоткрыла дверь.)*

ХОР. Ой ты, Галя, Галя,

Дай воды напиться

Может быть, я, Галя,

Не буду журиться...

ТРЕТЬЯКОВ. Я опаздываю, Лидия Васильевна.

ХОР. Я не дам тебе воды,

Вода ключевая,

Ты не любишь меня,

У тебя другая...

АСТАФЬЕВА *(закрыла дверь).* Славно поют!

ТРЕТЬЯКОВ *(мягко).* Это не имеет никакого значения. Я должен ехать. Даже если бы за окном был хор Пятницкого. Все равно. Даже тем более.

АСТАФЬЕВА. Сейчас я вас не пущу.

ТРЕТЬЯКОВ *(в недоумении).* Мне понятно ваше настроение... Я сам... Я тронут, но... мне некогда.

АСТАФЬЕВА. Вы уйдете...

ТРЕТЬЯКОВ. Откройте же!

АСТАФЬЕВА. Но не сейчас...

ТРЕТЬЯКОВ. Что случилось?

АСТАФЬЕВА. Сейчас десять часов вечера.

ТРЕТЬЯКОВ. Ну и что?

АСТАФЬЕВА. Я говорила – вы нечуткий...

ТРЕТЬЯКОВ *(задумчиво).* Так... И неактивный?

АСТАФЬЕВА. Это уж само собой...

ТРЕТЬЯКОВ. Так...

*Подходит к Астафьевой.*

Если я правильно понимаю, вы хотите, чтобы я ушел от вас утром?

*Пытается обнять Астафьеву. Попытка, впрочем, довольно робкая.*

АСТАФЬЕВА *(останавливает его).* Вы ничего не поняли!

ТРЕТЬЯКОВ *(обескуражен).* Объясните! Сейчас мне уйти нельзя, утром – тоже... Когда в таком случае? Ночью? Днем? Завтра? Послезавтра?

АСТАФЬЕВА *(с достоинством).* Вечером.

ТРЕТЬЯКОВ. Но почему, Лидия Васильевна?! Вы, кажется, издеваетесь?

АСТАФЬЕВА. Десять часов вечера... Подумайте, что они скажут, если вы выйдете в такое время из моего дома?

ТРЕТЬЯКОВ. Кто – они?

АСТАФЬЕВА. Вы что, не слышите?

ТРЕТЬЯКОВ *(раздосадован).* Ах, вон что вас беспокоит! Что скажут?..

АСТАФЬЕВА. Да! Что скажут...

ТРЕТЬЯКОВ. Они ничего не скажут, просто что-нибудь споют.

АСТАФЬЕВА. Сначала споют, потом начнут сплетничать. Вы что – не знаете?

ТРЕТЬЯКОВ. Какие могут быть сплетни? Я уезжаю, зашел проститься. Разве из этого можно сочинить сплетню?

АСТАФЬЕВА. Вы-то уедете, а они останутся и будут думать...

ТРЕТЬЯКОВ. Лидия Васильевна, пусть думают, нельзя же им все время петь.

АСТАФЬЕВА. Вам-то что, вы уедете, а я... потом замуж не выйду.

ТРЕТЬЯКОВ. Что?! Выходит, перед отъездом я должен выдать вас замуж?

АСТАФЬЕВА *(теперь она иронизирует).* Тише, Владимир Александрович! Вы еще не в городе.

ТРЕТЬЯКОВ. В городе мне, помнится, говорили: тише – вы не в лесу!

АСТАФЬЕВА. У нас уж так... Не взыщите!

ТРЕТЬЯКОВ. Лидия Васильевна, не будем ссориться – откройте двери! *(Смотрит на часы.)*

АСТАФЬЕВА. Не могу. Мы люди отсталые, с предрассудками...

ТРЕТЬЯКОВ. Это вы-то! Ай-яй! Заведующая фермой, активист, передовая женщина! Вы меня удивляете.

АСТАФЬЕВА. Чему вы удивляетесь? У нас на ферме плохо с культурно-массовой работой. Разве не читали в газете?

ТРЕТЬЯКОВ. Не читал.

АСТАФЬЕВА. Зря. Там и про вас сказано: «Куда смотрит интеллигенция?»

*За окном пение смолкло, но заиграли на гармонике. Послышался шум подошедшей машины.*

ТРЕТЬЯКОВ. Автобус!

АСТАФЬЕВА. Но полянка-то еще не разошлась. Вот она, рядом.

ТРЕТЬЯКОВ *(с нетерпением).* Черт возьми! Что же вы предлагаете?

АСТАФЬЕВА *(невинно).* Хотите – чаем угощу?

ТРЕТЬЯКОВ. Бездельники! Сколько можно петь и плясать!

АСТАФЬЕВА. Почему бы не поплясать? Только что отсеялись. Скоро сенокос.

ТРЕТЬЯКОВ. Ну знаете, я в вас разочаровался. Мне о вас иначе говорили.

АСТАФЬЕВА *(кротко).* А вам надо было проверить – так ли все, как говорили. Время у вас было...

ТРЕТЬЯКОВ. Если вы считаете, что мне неприлично выйти в дверь, – выпустите меня в окно!

АСТАФЬЕВА. Ну да! На дворе луна, светло как днем! Не знаю уж, как в городе, а у нас через окно ходить не принято.

ТРЕТЬЯКОВ. Неужели? Что же у вас принято в таком случае? Может быть, вылететь в трубу?

АСТАФЬЕВА. Попробуйте.

ТРЕТЬЯКОВ. Не понимаю, чем вас смущает окно? Если увидят, скажете – вор. Дескать, учитель украл у вас шерстяную кофту.

АСТАФЬЕВА. Придумал!

ТРЕТЬЯКОВ. Скажите что угодно, только отпустите наконец!

АСТАФЬЕВА *(мстительно).* Не кричите на меня! Вы мне уже надоели. Как только они уйдут – пожалуйста, скатертью дорожка!

ТРЕТЬЯКОВ. Спасибо. Автобус уйдет – где, интересно, я буду ночевать? Под сосной? Квартиру мою, между прочим, успели уже заколотить.

АСТАФЬЕВА. Если бы вы не кричали, а вели себя деликатно, я бы вам, так уж и быть, на лавке бы постелила.

ТРЕТЬЯКОВ. Да? Вы очень любезны. Только я не желаю больше с вами разговаривать.

*Сели в разных концах комнаты. Помолчали. На улице снова пение.*

«Деликатно»... Что же все-таки делать? Может, мне жениться на вас? Из деликатности...

АСТАФЬЕВА. Да я за вас никогда и не пошла бы.

ТРЕТЬЯКОВ. Да ну? Вы же ко мне были неравнодушны. Скажете – нет? За вас вся деревня переживала...

АСТАФЬЕВА. Симпатизировала, пока не знала, какой вы есть.

ТРЕТЬЯКОВ. Какой я есть?

АСТАФЬЕВА. Грубый, каких много...

*Помолчали. Песня.*

ТРЕТЬЯКОВ. Где ваш муж, сумасшедшая вы женщина?

АСТАФЬЕВА. Нет у меня никакого мужа. И не надо!

ТРЕТЬЯКОВ. Да где тот, что был? Неужели сбежал?

АСТАФЬЕВА. Разве похоже, чтобы от меня муж сбежал?

ТРЕТЬЯКОВ. Нисколечко. Это верно. От вас, пожалуй, не сбежишь...

АСТАФЬЕВА. Сама ушла. Мой муж был грубый человек...

ТРЕТЬЯКОВ. Я понимаю, вроде меня?

АСТАФЬЕВА. Вначале маскировался, стишки писал, потом запил... А других, Владимир Александрович, женихов здесь не было...

ТРЕТЬЯКОВ. Где он сейчас?

АСТАФЬЕВА. Уехал киномехаником.

ТРЕТЬЯКОВ. Давно?

*Песня удаляется от окна.*

АСТАФЬЕВА. Пять лет прошло...

ТРЕТЬЯКОВ. А мне говорили – четыре...

АСТАФЬЕВА. Ошиблись... *(Подходит к окну.)* Ну вот... Плен ваш кончился. Полянка расходится.

ТРЕТЬЯКОВ. Действительно...

АСТАФЬЕВА. Зря горячились – успеете...

ТРЕТЬЯКОВ. Простите меня...

АСТАФЬЕВА. Да нет, это вы меня извините. Все я придумала. Не боюсь я никаких разговоров, никакого мнения! Пошутила я, Владимир Александрович. На прощание. Взяла и пошутила – что мне?

ТРЕТЬЯКОВ. Я же говорил, что вы издеваетесь...

АСТАФЬЕВА *(открывает дверь).* Извините, что задержала...

ТРЕТЬЯКОВ. Но... они... они, собственно, еще рядом...

АСТАФЬЕВА. Никак теперь вы боитесь, что люди подумают?

ТРЕТЬЯКОВ. Нет... Но все-таки обидно. Ведь напрасно подумают, вот что обидно!

АСТАФЬЕВА. А вы огородом, огородом – незаметно... Идите, а не то в самом деле опоздаете...

ТРЕТЬЯКОВ. Я успею. Шофер знает, что я сегодня уезжаю, подождет...

АСТАФЬЕВА. Уезжайте, что вам здесь делать? Кого вам здесь любить, с кем разговаривать?! Отбыли свое – и уезжайте! Уезжайте в свой чудесный город! Он по вас скучает! Давно! И как только он там, горемычный, без вас? Я даже не знаю...

ТРЕТЬЯКОВ *(задумчиво).* Действительно... Как он там без меня, горемычный?..

АСТАФЬЕВА. Что и говорить! Вы проспали, все три года спали – и проспали! И видели во сне огни ваши голубые и проспекты! Что – я не знаю?.. Вы ходите там по мокрым улицам, все молодые, все гордые, и никто не знает, о чем вы думаете... А здесь – поле и лес, здесь все понятно, и вы – спите. И сейчас вы спите...

ТРЕТЬЯКОВ. Нет, не сплю. Выспался. За три года выспался...

АСТАФЬЕВА. Вы шутите, вы всегда шутите, шутите и ждете отъезда... Вот вы его и дождались, отбыли свое, ну и прощайте!.. Зачем только вы сюда приезжали!.. Уходите.

ТРЕТЬЯКОВ *(растерян).* Минутку... Вы загибаете, уверяю вас... Летом в городе душно...

АСТАФЬЕВА. Зато – весело!

ТРЕТЬЯКОВ. Летом город пуст...

АСТАФЬЕВА. В городе много развлечений!..

ТРЕТЬЯКОВ. Ничего нового не придумали...

*Слышится ворчание автобуса, затем – два сигнала.*

АСТАФЬЕВА. На дороге. Вас кличет.

ТРЕТЬЯКОВ. В ваши окна не видно дорог. Поле и лес, поле и лес... У вас зеленые глаза, вы наяда, сирена, от вас надо спасаться бегством...

АСТАФЬЕВА. Перешагнуть порог, чего проще...

*На улице снова возникает песня.*

ТРЕТЬЯКОВ. «Перешагнуть порог...» Это сложная задача. Дураков полно по ту и по другую сторону порога...

*Маленькая пауза. Песня приближается. Теперь это частушки.*

Это точно, глупости человек делает перед порогом. И хорошо, когда ты подготовлен заранее. А если нет?.. Я три года преподавал в вашем селе географию. Спал и преподавал географию. Преподавал географию и спал. Тихо, спокойно. И мне кажется, я не вовремя проснулся. Проснулся я перед порогом. Вы понимаете мои переживания?..

*Песня остановилась под окном.*

АСТАФЬЕВА. Они вернулись... Они остановились под окном!

*Третьяков приоткрывает дверь.*

ХОР. Я по улице иду,

Иду и примечаю,

На белы ставни погляжу –

Головкой покачаю...

ТРЕТЬЯКОВ *(закрыл дверь).* Что же дальше?..

АСТАФЬЕВА. Что дальше?.. Вам лучше знать, что дальше...

ТРЕТЬЯКОВ. Лидия Васильевна, порог этот – ваш... Я лунатик, в минуту я должен решить задачу, где почти все неизвестно. Я лунатик, снимите меня с крыши, посадите в автобус или...

*Стук в дверь. Третьяков замолчал.*

АСТАФЬЕВА *(подходит к двери).* Кто?

*Дверь чуть приоткрывается, но никто не входит.*

ЖЕНСКИЙ голос *(за дверью; громко).* Лидочка! Ты учителя случайно не видела?.. Шофер его ищет, на станцию везти!

*Астафьева смотрит на Третьякова вопросительно.*

ТРЕТЬЯКОВ. Скажите, что я здесь... Пусть... шофер зайдет.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. По всей деревне ищет. Пропал педагог!

АСТАФЬЕВА *(громко).* Он здесь. Пусть сюда подъедут.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Нашлась пропажа!.. Подъедут, сейчас подъедут!

ТРЕТЬЯКОВ. Наконец они перестанут петь...

*Песня тотчас обрывается.*

АСТАФЬЕВА. Наслушались... на всю жизнь...

ТРЕТЬЯКОВ. Они пели неплохо, надо признаться...

АСТАФЬЕВА *(держится мужественно).* Без аккомпанемента.

ТРЕТЬЯКОВ *(у окна).* В ваши окна не видно дорог... Там нынче покосы?

*Показывает рукой.*

АСТАФЬЕВА. За Марьиным логом...

ТРЕТЬЯКОВ. Марьин лог... Из города едут сейчас на дачи... В поле и в лес...

АСТАФЬЕВА *(отлично держится).* Побалуются природой, отдохнут...

*Слышно, как подъехала машина.*

ТРЕТЬЯКОВ. В город сейчас возвращаются сумасшедшие... Скажите, а вот приедет учитель вместо меня – его тоже здесь все полюбят.

АСТАФЬЕВА. А как же? Полюбим. Три года любить будем. Как полагается.

ТРЕТЬЯКОВ. Мальчишка приедет, пижон с новеньким глобусом... Откроете мою квартиру, покажете мою школу и – полюбите... Грустная история.

АСТАФЬЕВА *(отчаянно).* Ничего. Переживем!

ТРЕТЬЯКОВ. А мне не нравится. И мальчик этот с глобусом – не нравится... Забавно, но сейчас решается его судьба. Он в моих руках.

ГОЛОС ШОФЕРА *(за дверью).* Как же понимать? Едет учитель или не едет?

ТРЕТЬЯКОВ *(подошел к двери, открыл ее).* Кеша, прости меня, пожалуйста. Прости, что пришлось долго ждать.

ГОЛОС ШОФЕРА. Ничего, Владимир Александрович, бывает хуже...

ТРЕТЬЯКОВ. Сегодня я никуда не еду...

ГОЛОС ШОФЕРА. Завтра рейса нет. Выходной.

ТРЕТЬЯКОВ. Ну что ж, должен же ты когда-нибудь отдыхать.

ГОЛОС ШОФЕРА. Обязан. Привет, Владимир Александрович.

ТРЕТЬЯКОВ. До свидания.

*Дверь остается открытой. В отдалении еще раз раздается песня.*

АСТАФЬЕВА. Опять! Вы слышите?.. Поют... ненормальные...

ТРЕТЬЯКОВ. Плевать, конечно, но все-таки интересно, о чем они только что говорили!

*Астафьева смеется.*

*Занавес*